

ДЖОН ФАУЛЗ

Мантисса

im WERDEN-VERLAG
AUGSBURG 2001

Тогда, тщательно исследовав свое «Я», я понял, что могу вообразить, что у меня нет тела, что внешнего мира не существует и не существует места, где я нахожусь, но, несмотря на это, я не могу вообразить, что я не существую; напротив, самый тот факт, что я могу подвергнуть сомнению реальность других предметов, заставляет сделать ясный и четкий вывод, что я существую; в то время как, если бы только я перестал мыслить, даже в том случае, если бы все, о чем я когда бы то ни было успел помыслить, соответствовало действительности, у меня не было бы основания полагать, что я существую: отсюда я заключил, что я есть существо, чья суть, или природа, заключается в мышлении и не только не нуждается в месте существования, но и не зависит в своем существовании от каких бы то ни было материальных предметов. Следовательно, это «Я», то есть душа, благодаря которой я есть то, что я есть, совершенно отлична от тела, легче познается, чем тело, и, более того, не перестанет быть тем, что она есть, даже если бы тела не существовало.

Rene Descartes. Discourse de la Methode ¹

СИЛЬВИЯ. А теперь будем серьезны. Звезды предрекают, что я выйду замуж за человека выдающегося, и я ни на кого другого и смотреть не стану.

ДОРАНТ. Если бы речь шла обо мне, я чувствовал бы себя в опасности: вечно боялся бы, вдруг ваш гороскоп сбудется — с моей помощью. В астрологии я абсолютный атеист... зато в личико ваше верю свято.

СИЛЬВИЯ (себе под нос) Вот назола! (Доранту.) Прекратите-ка эти ваши штучки! Вы к моей судьбе касательства не имеете. Вам-то что за дело до моего гороскопа?

ДОРАНТ. А то, что там не предсказано, что я не влюблюсь в вас.

СИЛЬВИЯ. Ну и что? Зато там предсказано, что на пользу это вам нисколько не пойдет, и слово даю — это уж точно. Полагаю, вы окажетесь способны говорить о чем-нибудь помимо любви?

ДОРАНТ. Если только вы окажетесь способны ее не пробуждать.

СИЛЬВИЯ. Ну в самом деле, это возмутительно! Я вот-вот выйду из себя. Раз и навсегда приказываю вам перестать быть в меня влюбленным!

ДОРАНТ. Как только вы перестанете быть!

Mariveaux. Le Jeu de l'Amour et du Hasard ²

I

Их обычно изображали в виде юных, прекрасных, застенчивых дев, любивших уединение; они чаще всего являлись в разных одеждах, соответствовавших тем искусствам либо наукам, которым покровительствовали.

Lempriere. Under «Musae» ³

Оно сознавало, что погружено в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, Альфа и Омега⁴ сущего, над океаном легких облаков, и смотрит вниз; потом, после неопределенно долгого перерыва, уже не испытывая такого блаженства, оно восприняло чуть слышимые звуки, размытые тени где-то на периферии сознания... Это резко уменьшило ощущение бесконечности пространства, витания в эмпириях, создав впечатление чего-то гораздо более тесного, вовсе не такого вместительного и дружелюбного. Оттуда, словно

в неотвратимом стремительном падении, оно услышало, как тихие звуки нарастают, обращаясь в голоса, увидело, что размытые тени фокусируются, превращаясь в лица. Будто в неизвестном иностранном фильме — ничто не казалось знакомым: ни язык, ни место действия, ни состав исполнителей. Образы и эмблемы проплывали, то сливаясь на миг, то разделяясь вновь, как мириады амеб в озерной воде, в деловитой, но бесцельной суете. Эти сочетания форм и ощущений, соединения морфем и фоном возвращались теперь, как алгебраические формулы школьных дней, когда-то бессмысленно заученные наизусть и навсегда отложившиеся в мозгу, хотя к чему их можно было бы теперь применить, зачем они вообще существуют — давным-давно накрепко забыто. ОНО явно обладало сознанием, но не обладало ни местоимением — тем, что позволяет отличить одну личность от другой, ни временем, что позволяет отличить настоящее от прошлого и будущего.

Еще некоторое время блаженное ощущение превосходства, сознание, что каким-то образом удалось взобраться на самый верх некоего нагромождения, сосуществовало с этим чувством безличности. Но вскоре и это ощущение было жесточайшим образом рассеяно неуловимым демоном реальности. Головоломный психологический кувырок, и ОНО оказалось вынужденным сделать неминуем вывод, что вместо величественного парения в стратосфере, на ложе из ямбических пятистиший, ОНО на самом деле лежит на спине в обыкновенной кровати. Над головой — настенная лампа: аккуратный прямоугольник, перламутрово-белый пластмассовый плафон. Свет. Ночь. Небольшая серая комната — светло-серая, такого цвета бывают крылья у серебристой чайки. Лимб, где никогда ничего не происходит, терпимое ничто. Если бы не две женщины, пристально глядящие сверху вниз — на него.

Безмолвный упрек на том лице, что поближе и потребовательнее; ОНО вынуждено волей-неволей сделать еще один вывод: по какой-то причине именно ОНО оказалось в центре их внимания и даже стало чем-то вроде «Я». Лицо улыбнулось, склонилось, на нем появилось выражение сочувственно-скептической встревоженности, чуть окрашенной подозрением, — а не симуляция ли все это?

— Дорогой?

Новый, болезненно быстрый и уничижительный всплеск интуиции, и ОНО осознает, что ОНО не просто «Я», но «Я» мужского рода. Вот откуда, по всей вероятности, явилось это заполонившее его чувство приниженности, бессилия, тупости. ОНО, «Я» то есть, скорее всего — он — наблюдал, как губы плавно опустились, словно на парашюте, и приземлились прямо посреди его лба. Прикосновение и аромат — это уже не могло быть ни фильмом, ни сном. Теперь это лицо нависает над ним. Из ярко-красного овала исходят слова:

— Дорогой, ты знаешь, кто я?

Он молча смотрит.

— Я — Клэр, разве не ясно?

Вовсе не ясно.

— Я твоя жена, дорогой. Вспоминаешь?

— Жена?

Странное, тревожное чувство: он понимает, что что-то сказал, но лишь потому, что источник звука так близко. В карих глазах над ним — тень обиды: ужасающее предательство, супружеская неверность. Он пытается соотнести произнесенное слово с этой личностью, личность — с самим собой; не удастся; тогда он переводит взгляд на лицо той, что помоложе и стоит подальше, с другой стороны кровати: она тоже улыбается, но равнодушно-профессионально. Эта другая личность — руки в карманах, наблюдает, явно в состоянии профессиональной готовности; на ней белый медицинский халат. Теперь и ее рот порождает слова:

— Вы можете назвать свое имя?

Ну разумеется! Имя! Никакого имени. Ничего. Ни прошлого, ни — где, ни — откуда. Пропасть осознана, и почти одновременно приходит сознание непоправимости. Он отчаянно напрягает силы, как падающий, что пытается удержаться, но то, за чем он тянется, за что хочет

ухватиться, — этого просто нет. Он пристально смотрит в глаза женщины в белом халате, в неожиданном приступе всепоглощающего страха. Она подходит чуть ближе:

— Я — врач. Это ваша жена. Будьте добры, посмотрите на нее. Вы ее помните? Помните, что видели ее раньше? Что-нибудь о ней помните?

Он смотрит. На лице жены — ожидание, надежда и в то же время боль, чуть ли не обида, будто владелица этого лица оскорблена и бессмысленностью процедуры, и его молчаливым пристальным взглядом. Она кажется изнервничавшейся и уставшей, она слишком ярко накрашена, и виду нее такой, будто она надела маску, чтобы сдержать рвущийся наружу вопль. А кроме всего прочего, она требует от него того, чего он дать ей не в силах.

Рот ее начинает исторгать имена — имена людей, названия улиц, домов, городов, разрозненные фразы. Может, он и слышал их раньше, как и другие слова, но он и представления не имеет, с чем они должны соотноситься и почему — чем дальше, тем больше — они звучат как свидетельство совершенных им преступлений. Наконец он качает головой. Ему хотелось бы закрыть глаза, обрести покой и — в покое — снова все забыть, снова слиться с чистой страницей забвения.

— Дорогой, ну, пожалуйста, попробуй. Прошу тебя! Ну ради меня? — Она ждет секунду-другую, потом поднимает взгляд на врача. — Боюсь, это бесполезно.

Теперь над ним склоняется врач. Он чувствует, как ее пальцы осторожно раздвигают ему веки — она разглядывает что-то в его зрачках. Улыбается ему, будто он ребенок.

— Это — отдельная палата в больнице. Здесь вы в полной безопасности.

— В больнице?

— Вы знаете, что такое больница?

— Катастрофа?

— Перебой в подаче энергии. — Слабый намек на иронию оживляет ее темные глаза, благословенная соломинка утопающему — юмор. — Мы скоро включим вас снова.

— Не могу вспомнить, кто...

— Да, мы понимаем.

Другая женщина произносит:

— Майлз?

— Что такое «майлз»?

— Твое имя, дорогой. Твое имя — Майлз Грин.

Легкий промельк, незнакомый предмет, словно крыло летучей мыши во мгле, исчезает чуть ли не до того, как удастся его заметить.

— А что случилось?

— Ничего особенного, дорогой. Все поправимо.

Он понимает — это неправда, и она понимает, что он понял.

Что-то слишком много получается понимания.

— Кто вы?

— Клэр. Твоя жена.

Она опять произносит это имя, но теперь с вопросительной интонацией, словно и сама усомнилась — она ли это. Он отводит глаза, смотрит в потолок. Станный какой-то потолок, но успокаивает; серебристо-серый, как чайка; да, чайки... чаек он знает; потолок чуть изогнут, образуя неглубокий купол, весь в маленьких квадратиках, будто простеган или подбит ватой, каждый квадратик — выпуклый, навесной, с небольшой, обтянутой мягкой материей пуговкой в центре. Впечатление такое, будто он состоит из бесконечных рядов кротовин или муравейников, перевернутых вверх дном. Где-то в воцарившейся на миг тишине раздается новый, навязчивый звук, не замеченное до сих пор тиканье часов. Врач снова склоняется над ним:

— Какого цвета у меня глаза?

— Темно-карие.

— А волосы?
— Темные.
— Цвет лица?
— Бледный. Гладкая кожа.
— Сколько мне лет, по-вашему? — Он молча смотрит. — Попробуйте угадать.
— Двадцать семь. Восемь.
— Отлично. — Она одобрительно улыбается, потом продолжает — деловым, нейтральным тоном: — Так. Кто написал «Записки Пиквикского клуба»?

— Диккенс.
— «Сон в зимнюю ночь»? — Он опять молча смотрит. — Не знаете?
— «В летнюю».
— Прекрасно. Кто?
— Шекспир.
— Какое-нибудь действующее лицо в пьесе помните?
— Боттом. — Подумав, добавляет: — Титания.
— Почему вам запомнились именно эти двое?
— Бог его знает.
— Когда в последний раз вы видели ее на сцене?

Он закрывает глаза — думает; потом опять открывает их и качает головой:

— Не существенно. Ну-ка, восемью восемь?
— Шестьдесят четыре.
— От тридцати — девятнадцать?
— Одиннадцать.
— Очень хорошо. Высший балл.

Она выпрямляется. Он хотел бы объяснить, что все ответы взялись ниоткуда, и то, что он загадочным образом оказался способен отвечать правильно, только усилило непонимание. Он делает слабую попытку сесть, но что-то его удерживает... он плотно закутан в простыню, одеяло тщательно подоткнуто под матрас; да к тому же — слабость, которой нет желания противиться, словно в ночных кошмарах, когда между желанием двинуться и самим движением лежит бесконечность... бесконечное пространство детской кровати.

— Лежите спокойно, мистер Грин. Вам ввели успокоительное.

Тайная тревога возрастала. И все же, видимо, можно было доверять этим настороженным, настойчивым темным глазам. В них виделась приглушенная ирония давнего друга — друга противоположного пола; сейчас взгляд был совершенно отстраненным, но в нем можно было заметить слабую тень более нежной заинтересованности. Другая женщина погладила его по плечу, снова претендуя на свою долю внимания.

— Нам надо перестать волноваться. Отдохнуть. Всего несколько дней.

Он неохотно переводит взгляд на ее лицо; это «нам» вызывает инстинктивное желание противоречить.

— Я вас никогда раньше не видел.

Женщина издает смешок, короткий и почти беззвучный, будто это кажется ей забавным: какая нелепость!

— Боюсь, все-таки видел, дорогой. Каждый день на протяжении последних десяти лет. Мы ведь муж и жена. У нас — дети. Ты должен это помнить!

— Я ничего не помню.

Она глубоко вздыхает и опускает голову; потом снова поднимает глаза на женщину-врача, стоящую по ту сторону кровати; но теперь он ощущает, что, укрывшись за профессионально сдержанной манерой, врач разделяет его возрастающую неприязнь к этому стремлению — пусть и не выраженному словами — обвинить, связать моральным императивом. Женщина слишком уж настаивает на своем праве обладания им, а ведь человеку необходимо прежде всего знать,

кто он, только тогда он может захотеть, чтобы им обладали. Его охватывает непреодолимое желание остаться в неприкосновенности: пусть он — объект, на обладание которым она, может, и претендует, с этим бороться он не в силах, но он не ручной зверек, чтобы так легко поддаться этим ее претензиям. Лучше всего снова погрузиться в ничто, в лимб, в серебристо-серую, чуть слышно тикающую тишину. Он медленно опускает веки. Но почти в тот же момент раздается голос врача:

— Я хотела бы начать кое-какие предварительные процедуры, миссис Грин.

— Конечно, конечно. — Он замечает умильную улыбку на женолице, взгляд устремлен на противоположную сторону кровати, женщины смотрят друг на друга. — Такое облегчение — знать, что он в хороших руках. — Молчание. Потом она продолжает: — Вы ведь сразу же дадите мне знать, если...

— Сразу же. Не волнуйтесь. Неспособность ориентироваться в первое время — явление совершенно нормальное.

Женщина — его предполагаемая жена — снова смотрит вниз, на него, все еще не убежденная, все еще молча обвиняющая. Он вдруг понимает, впрочем испытывая не сочувствие, а раздражение, что она ужасно взволнована: рецепта, как справляться с подобными ситуациями, у нее нет.

— Майлз, я завтра опять приду. — Он не отвечает. — Пожалуйста, постарайся помочь доктору. Все будет хорошо. Дети о тебе страшно скучают. — Она делает последнюю отчаянную попытку: — Джейн? Том? Дэвид?

Льстивый голос, слова гораздо больше похожи на давно просроченные счета за былые бессмысленные траты, чем на имена детей. Она опять вздыхает, наклоняется, быстро, словно клюет, целует его в губы: я водружаю здесь свой флаг. Это моя земля.

Он не стал смотреть, как она уходит, лежал, глядя в потолок; руки под простыней спокойно вытянуты вдоль боков. Обе женщины, тихонько беседуя, остановились у двери — вне его поля зрения. Успокоительное. Перебой в подаче энергии. Операция. Он пошевелил ступнями, потом провел ладонью по внешней стороне бедер. Голая кожа. А выше? Тоже голая кожа. Дверь закрылась. Женщина-врач снова оказалась рядом с ним. Протянула руку, нажала кнопку звонка у кровати и с минуту пристально разглядывала лежащего.

— Попробуйте понять — для них это тоже потрясение, шок. Люди обычно не осознают, насколько они зависят от возможности быть узанными, ведь именно это служит им доказательством их существования. Когда случается что-то вроде того, что произошло сейчас, они пугаются. Чувствуют себя незащищенными. Понятно?

— На мне ничего нет.

Мимолетная улыбка — из-за эдакого *non sequitur*⁵, а может быть, из-за того, что утрата одежды шокировала его больше, чем потеря памяти.

— А вам ничего и не нужно. Здесь очень тепло. Слишком тепло, по правде говоря. — Она касается своего белоснежного халата. — Я под халат вообще ничего не надеваю. Термостат здесь дает слишком высокую температуру, мы все жалуемся на это. И окон тут нет. — Пауза. — А вы знаете, что такое термостат?

— Некоторым образом.

Он приподнимает голову, вытягивает шею — впервые пытается осмотреть комнату. И правда, окна здесь нет, почти нет мебели, только небольшой столик и стул в дальнем левом углу, если смотреть от кровати, где он лежит. Стены обиты такой же серой стеганой, словно одеяло, материей, как и потолок. Даже дверь напротив изножья кровати обита так же. Только пол пощадили, будто пытаясь скрасить однообразие всего остального: он укрыт толстым тускло-розовым, почти телесного цвета, ковром; такой оттенок художники когда-то называли «цвет увядающей розы». Стеганое одеяло... обивка... тюрьма... он не улавливал связи, но уставился в глаза женщины-врача, и она, как видно, догадалась о том, чего он не смог выразить словами.

— Это — для тишины. Последнее слово науки. Акустическая изоляция. Мы переведем вас, как только вы начнете выздоравливать.

— Часы.

— Да. — Она указала рукой. Они висели на стене позади него, слева, ближе к углу комнаты, нелепо вычурные и разукрашенные швейцарские часы с кукушкой; там были и альпийские взгорья, и целый сонм неясных фигур — крестьяне, коровы, альпийские пастушки рожки, эдельвейсы и Бог знает что еще; все это было выточено и вырезано на каждом свободном дюйме коричневого деревянного циферблата. — Их оставил нам предыдущий пациент. Джентльмен из Ирландии. Мы подумали, они несколько оживят обстановку.

— Но они ужасны.

— Они не будут вас беспокоить. Мы отсоединили ударный механизм. Они больше не кукуют.

Он не отводил взгляда от кошмарных часов, от их безумно перегруженного циферблата, цепей и гирь, напоминающих выпавшие внутренности. Они его очень беспокоили, символизируя что-то, чего он боялся, хотя и не мог сказать почему; они были аномалией, неуместным напоминанием обо всем, чего он не мог вспомнить.

— А он вылечился?

— Его случай был очень сложным.

Он поворачивает голову и снова смотрит на врача:

— Не вылечился?

— Я расскажу вам о нем, когда вы почувствуете себя лучше.

Он пытается переварить сказанное:

— А это не...

— «Не» — что?

— Сумасшедшие?

— Господи, конечно нет! Вы так же разумны, как и я. Возможно, даже больше, чем я.

Теперь она садится на край кровати, скрестив на груди руки, поворачивается к нему лицом, и они ждут, чтобы кто-то явился на звонок. В верхнем кармане ее халата — две ручки и футляр от термометра. Темные волосы стянуты в строгий узел на затылке, лицо не подкрашено, однако в нем заметна какая-то элегантность, что-то классическое, средиземноморское. Чистая, гладкая кожа, за ее бледностью чувствуется теплота, возможно, тут есть частица итальянской крови; впрочем, нельзя сказать, что она не типичная англичанка: манера поведения выдает прекрасное воспитание и происхождение, может быть даже высокое; она похожа на молодую женщину, чей интеллект потребовал, чтобы она выбрала себе серьезное занятие, а не проводила дни в праздности. А может быть даже, подумал он, она еврейка, отпрыск одного из тех выдающихся семейств, что с давних пор сочетают крупные капиталы с глубокой ученостью и служением обществу... тут он удивился, как это он вообще оказался способен подумать об этом. Она протягивает руку и гладит его бок — старается приободрить:

— С вами все будет в порядке. У нас бывали случаи и похуже.

— Я будто снова стал ребенком.

— Я знаю. Лечение может сразу не дать результатов. Мы оба должны проявить терпение. —

Она улыбается. — Взаимопомощь, так сказать. — Она поднимается и снова нажимает кнопку звонка у кровати, потом опять садится.

— А где мы?

— В Центральной. — Она наблюдает за ним.

Он качает головой. Она опускает глаза, с минуту молчит, потом смотрит на него; в глазах мелькает уже знакомая ирония — готовится новый тест. — Я здесь затем, чтобы заставить вашу память снова функционировать. Ну-ка, пошарьте в ней! Все знают, что такое Центральная.

Он шарит; потом каким-то странным образом до него доходит, что это — пустая трата времени и что гораздо мудрее будет даже и не пытаться. Было вовсе не так уж неприятно — после первого потрясения — сознавать, что ты напрочь отрезан от того, чем был или мог быть; от тебя ничего не ждут, ты освободился от ноши, о которой раньше вроде бы и не помнил, однако теперь, когда ее не стало, понял, что она была, эта тяжесть, которой никогда раньше не

замечал, но теперь всем своим психологическим хребтом ощутил огромное облегчение. А более всего ощущение отдыха и покоя возникало от сознания, что он попал в руки этой спокойной и компетентной женщины, доверен ее заботам. Из расходящихся уголком лацканов белого халата виднелась стройная шея и нежное горло.

— Хочется взглянуть на свое лицо.

— Пока что я ваше зеркало.

Он вглядывается в это зеркало: ничего определенного в нем не разглядеть.

— Со мной случилось несчастье?

— Боюсь, что да. Вас превратили в жабу.

Очень медленно, разглядев что-то в ее глазах, он соображает, что его пытаются шуткой отвлечь от тревожных мыслей. Ему удается слабо улыбнуться. Она говорит:

— Вот так-то лучше.

— А вы знаете, кто я был?

— Кто я есть.

— Есть.

— Да.

Он ждет продолжения. Но она смотрит на него и молчит: еще один тест.

— Вы мне не скажете?

— Это вы мне скажете. Скоро. На днях.

Он молчит: минуту, две...

— Я думаю, вы...

— Я — что?

— Ну, знаете... кушетки...

— Психиатр?

— Вот-вот.

— Невропатолог. Нарушение функций мозга. Моя специальность — мнемонология.

— Что это?

— Как память работает.

— Или не работает.

— Иногда. Временно.

Узел ее волос завязан у затылка тоненьким шарфиком — единственная женственная деталь в ее одежде. На концах шарфика узор — мелкие розы перемежаются россыпью овальных листьев: черное на белом.

— Я не знаю, как вас зовут.

Сидя на краю кровати, она поворачивается к нему всем корпусом, приподнимает большим пальцем лацкан халата. На лацкане — именная планка: «Доктор А. Дельфи». Но тут, будто даже эта бюрократическая мелочь, касающаяся ее персоны, кажется ей нарушением строгих клинических правил, она поднимается на ноги.

— Да где же эта сестра, наконец?

Она идет к двери и выглядывает в коридор, — видимо, напрасно, потому что снова возвращается к кровати и нажимает кнопку звонка — теперь звонит долго и настойчиво. Смотрит вниз, на него, с печальной иронией сжав губы: дает понять, что не он причина ее раздражения.

— Я давно здесь?

— Всего несколько страниц.

— Страниц?

Она скрестила руки на груди и снова — иронический вопрос в ее внимательно следящих за ним глазах.

— А что я должна была сказать?

— Дней?

Она улыбается более открыто:

— Отлично.

— А зачем вы сказали «страниц»?

— Вы утратили идентичность, мистер Грин. Я должна работать с вами, основываясь на вашем собственном чувстве реального. А оно, кажется, в полном порядке.

— Будто багаж потерял.

— Лучше багаж, чем руки-ноги. Так считается.

Он рассматривает потолок, пытаясь изо всех сил вновь обрести прошлое, место в пространстве, цель.

— Наверное, я пытаюсь от чего-то уйти?

— Возможно. Потому-то мы здесь, с вами. Помочь вам просечь то, что позади. — Она касается его обнаженного плеча. — Но сейчас самое важное — не волноваться. Просто отдыхайте.

Она снова направляется к двери. За дверью — странная тьма, он ничего не может разглядеть. Он снова смотрит в потолок, на этот неглубокий купол, на целый лес нависших над ним бутонов, каждый из которых завершается пуговкой. Серого цвета, они все равно походили на груди: ряд за рядом эти юные девичьи груди образовывали над ним полог из нежных округлостей, увенчанных сосками. Ему захотелось указать на это доктору, но она по-прежнему ждала у открытой двери, а потом какой-то инстинкт подсказал ему, что такое он не может сказать женщине-врачу. Это слишком личное, каприз восприятия, это может ее оскорбить.

Наконец врач оборачивается. Кто-то поспешно входит в палату за ее спиной: молодая сестра, явно уроженка Вест-Индии, белая шапочка и смуглое лицо над крахмальной белой с голубым униформой. Через руку перекинут сверток красных резиновых подстилок. Она скашивает глаза на врача:

— На военной тропе — медсестра. Для разнообразия.

Врач умиротворенно кивает, потом произносит, обращаясь к пациенту:

— Это сестра Кори.

— Рады видеть вас у нас, мистер Грин.

Он поднимает на сестру взгляд, на лице — глуповато-смущенная гримаса.

— Прошу прощения.

Она с шутливой строгостью поднимает палец:

— Никаких «прошу прощения». А то отшлепаю.

Миловидная девушка, чувство юмора, веселая повелительность тона. И — редкостное совпадение — при всей очевидности совершенно различного расового происхождения двух женщин, глаза у сестры точно того же цвета, что у врача.

— Закройте дверь, сестра, будьте добры. Я хочу начать предварительные процедуры.

— Обязательно.

И снова доктор Дельфи скрещивает руки на груди: это явно ее любимая поза. Ее взгляд, устремленный на него, на миг кажется удивительно задумчивым, будто она еще не окончательно решила, каким должен быть курс лечения, будто он для нее не столько живой человек, сколько трудная проблема. Но вот она чуть улыбается ему:

— Это не больно. Многие пациенты находят, что эти процедуры приятно расслабляют. — Она бросает взгляд на сестру, стоящую теперь по ту сторону кровати: — Начнем?

Они склоняются над ним и с привычной ловкостью высвобождают края простыни и одеяла из-под матраса, сначала с одной стороны, потом — с другой. Быстро и аккуратно сложенные в несколько раз, одеяло и простыня оказываются в изножье кровати. Он пытается сесть. Но они обе немедленно возвращаются и встают над ним, мягко, но непреклонно заставляя его снова лечь.

Доктор Дельфи говорит:

— Лежите тихо. Так, как есть.

Голос ее, по-прежнему спокойный, стал заметно более деловым; она замечает, что он смущен.

— Ну, дорогой мой, мы же медики, я — врач, а это — сестра. Мы видим голых мужчин каждый Божий день.

— Да, — говорит он и добавляет: — Прошу прощения.

— Ну а сейчас мы постелим вам резиновую подстилку. Повернитесь ко мне. — Он поворачивается и чувствует, как сестра укладывает подстилку вдоль его спины. — А теперь на другой бок. Через завернутый край. Вот так. Отлично. Теперь — опять на спину. — Он смотрит в простеганный потолок. Подстилку расправляют и туго натягивают на матрас. — Теперь поднимите руки и заложите их за голову. Вот так. Отлично. Теперь закройте глаза — Я хочу, чтобы вы расслабились. Вы находитесь в самой лучшей из европейских клиник, занимающихся такими проблемами, как ваша. Процент излечений здесь очень высок. Вы уже не блуждаете бесцельно, вы — на пути к выздоровлению. Расслабьте мышцы. Освободите мозг. Все будет хорошо. — Она смолкла. — Так. Теперь мы проверим кое-какие нервные реакции. Не двигайтесь. Лежите совершенно спокойно.

— Хорошо.

Он послушно держит глаза закрытыми. Несколько мгновений тишины, только тиканье часов, потом врач тихо произносит:

— Начинайте, сестра.

Две легкие ладони касаются внутренней стороны его рук, закинутых на подушку, спускаются к подмышкам, гладят бока, останавливаются у тазобедренных суставов, чуть на них надавливая.

— Вам приятны мои руки, мистер Грин? Чувствуете их тепло?

— Да, благодарю вас.

Сестра убирает руки, но лишь на миг. Одна из ее ладоней умело приподнимает его безжизненно обмякший пенис, потом опускает его и остается на нем лежать. Пальцы другой руки обнимают мошонку и начинают осторожно ее массировать. Встревоженный, он открывает глаза. Врач наклоняется к нему:

— Нервный центр памяти в мозгу тесно связан с центром, контролирующим деятельность половых желез. Необходимо проверить, нормально ли они функционируют. Это рутинная процедура. Нет причин стесняться. Будьте добры, закройте опять глаза.

В ее взгляде уже нет ни юмора, ни суховатой иронии — только профессиональная серьезность. Он закрывает глаза. Массаж мошонки продолжается. Другая рука начинает поглаживать его пенис — снизу вверх. И хотя он никак не может расслабиться, эти манипуляции и правда кажутся ему всего лишь рутинной медицинской процедурой, и, как бы в подтверждение этому, доктор Дельфи затевает разговор с сестрой, через кровать, над его простертым телом:

— Удалось им что-нибудь сделать с той заглушкой?

— Смеетесь, что ли?

— Просто не знаю, что у нас творится с техобслуживанием. Чем больше жалуешься, тем дольше они тянут.

— Да они только и делают, что в карты дуются в котельной. Видала я их.

— Попробую напустить на них мистера Пикока.

— Удаchi вам.

Глаза у него закрыты, но он угадывает, что доктору по душе молоденькая сестра, нравится ее саркастическое смирение; что они улыбнулись друг другу после этого ее пожелания. Рука продолжает: то легко сжимает его пенис, то поглаживает, то осторожно перекачивает в пальцах. Однако что-то в их разговоре его встревожило. Ему кажется, что он уже слышал что-то такое, какой-то разговор о больничных делах, пережил такое раньше, даже это вроде бы... но как могло такое произойти с ним и не запомниться?

Очень тихо доктор произносит:

— Реакция?

— Отрицательная.

Он чувствует, как по-прежнему безжизненный пенис приподнимают и дают ему снова упасть; затем процедура возобновляется. Пробиваясь сквозь туман, сквозь жестокую серую мглу амнезии, он отчаянно пытается восстановить утраченную конструкцию предыдущего опыта и знаний. Больницы, врачи, медсестры, лекарства... какое-то движение с той стороны кровати, где стоит доктор Дельфи.

— Дайте мне правую руку, мистер Грин.

Замерев, он не реагирует, но врач извлекает его руку из-под головы и поднимает вверх. Рука касается обнаженной груди. Потрясенный и напуганный, он открывает глаза. Доктор Дельфи склоняется над ним, белый халат распахнут, взгляд устремлен на стену над его головой: будто она всего-навсего щупает его пульс. Она кладет себе на грудь и другую его руку.

— Что вы делаете?

Она на него не смотрит.

— Пожалуйста, не нужно разговаривать, мистер Грин. Мне необходимо, чтобы вы сконцентрировали внимание на тактильных восприятиях.

Взгляд его движется вниз, вдоль распахнутых пол халата, затем удивление его достигает наивысшей степени — снова вверх, к ее отвернувшемуся лицу. Он раньше не принял всерьез ее слов о том, что под халат она ничего не надевает.

— Не понимаю, что вы такое делаете.

— Я же вам только что объяснила. Проверяем ваши рефлексы.

— Вы хотите сказать...

Она опускает на него взгляд с явной долей раздражения.

— По всей видимости, вы уже давали нам образцы во время предыдущих обследований. Это точно такая же процедура.

Он убирает руку:

— Но я... Вы...

Ее голос становится неожиданно строгим и холодным:

— Послушайте, мистер Грин. У нас с сестрой масса других пациентов. Ими тоже нужно заняться. Вы же хотите вылечиться, правда?

— Да, конечно, только...

— Тогда закройте глаза. И ради всего святого, постарайтесь быть чуть более эротичным. Мы не можем потратить на вас весь день. — Она наклоняется над ним, опираясь руками по обе стороны подушки. — Задействуйте обе руки. Как и где угодно.

Но он лежит неподвижно, закинув руки за голову.

— Да не могу я! Я вас и не встречал в жизни ни разу. Хоть от Адама счет начинай.

Доктор Дельфи нетерпеливо вздыхает:

— Мистер Грин, если речь идет обо мне, прошу вас начинать не от Адама, а от Евы. Или вы пытаетесь дать мне понять, что предпочитаете, чтобы эти процедуры проводили медбрат и врач-мужчина?

— Нет уж, избавьте.

Она строго смотрит на него:

— Вы находите мое тело отталкивающим? — Ее голос и глаза повелевают, отказа она не потерпит. Он бросает взгляд на укрытые тенью нагие груди и отворачивается.

— Не понимаю, какое отношение все это имеет к...

— То, что вы называете «это», представляет собой самый современный и оправдавший себя метод лечения состояний, подобных вашему.

— Никогда ничего о нем не слышал.

— Всего несколько минут назад вы никогда ничего не слышали о своей жене и о собственных детях. Вы страдаете тяжким поражением памяти.

— Это бы я запомнил.

— А свои политические взгляды вы помните? — Он молчит. — А религиозные? Счет в банке? Род занятий?

— Вы же знаете, что нет.

— Тогда будьте любезны поверить: я знаю, что делаю. Нас вовсе не затем долгие годы обучают этой специальности, чтобы кто-то мог усомниться в нашей профессиональной компетенции, более того — на столь смехотворных основаниях. Физически вы совершенно здоровы. Вчера я обследовала вас всесторонне и весьма тщательно. Ваши гениталии в нормальном состоянии. Я не требую ничего невозможного.

Он лежит отвернувшись; через некоторое время, проглотив ком в горле, говорит приглушенно:

— Может, можно... я сам?

— Мы вовсе не собираемся проверять вашу способность просто продуцировать сперму, мистер Грин.

Было что-то такое в ее презрительном подчеркивании слова «сперма», чего он не понял. Она словно говорила о каких-то отбросах, о грязной пене.

— Но мне неловко...

— Да вы же в больнице, Господи прости! Ничего личного в этом нет и быть не может! Сестра и я просто проводим обычные процедуры. Здесь это каждодневная практика. Мы требуем всего лишь, чтобы вы сотрудничали с нами. Сестра?

— Все еще отрицательная.

— Так. Теперь давайте-ка бросим заниматься ерундой. У меня совершенно нормальное женское тело. Закройте глаза и используйте его по назначению.

Ее голос и взгляд казались теперь голосом и взглядом нянюшки — нянюшки старой школы, — уговаривающей упирающегося ребенка отправить наконец естественные надобности.

— Но зачем?

— И будьте так добры, не задавайте бессмысленных вопросов.

Она отворачивается и смотрит теперь на стену за его головой, исключая дальнейшую дискуссию. Наконец он закрывает глаза и, подняв руки, осторожно кладет ладони на склоненные над ним груди. Он не ласкает их, просто не убирает рук. Груды теплы и упруги, они приятно наполняют чаши ладоней; и он ощущает слабый смолистый аромат, словно аромат цветущего мирта; несомненно, это запах антисептического мыла, которым она пользуется. Однако гораздо острее, чем женственность доктора Дельфи, он чувствует нарастающий в нем гнев. Ведь он сумел понять хотя бы то, что недавно, по-видимому, перенес тяжелейшую травму и его мозг, очевидно, находится в таком состоянии, что особенно легко уязвим, а эти две женщины не только беспардонно пользуются его слабостью, тем, что он еще не вполне оправился от наркоза, но (что гораздо хуже!) совершенно не принимают в расчет те моральные устои, которых он, по всей вероятности, придерживается.

К своему ужасу — ведь сестра Кори так и не прекратила своих усилий, — он чувствует начинающуюся эрекцию. Может быть, сестра молча сделала врачу какой-то знак, потому что та заговорила чуть менее едким тоном, — так, пожалуй, мог бы говорить какой-нибудь министр туризма, принимающий делегацию представителей иностранных туристических фирм, заучивший оптимистический текст, составленный для него чиновником, который никогда и в глаза не видел ни одного живого представителя зарубежной фирмы.

— А теперь я предлагаю вам исследовать другие ареалы моего тела.

Это было уж слишком. Его руки снова упали на подушку. Впрочем, веки он так и не открыл.

— Это неприлично.

Доктор Дельфи молчит с минуту, потом, являя гораздо менее приятные аспекты ее более высокого интеллектуального и социального происхождения, произносит резко и холодно:

— Если хотите знать, мистер Грин, утрата памяти у вас вполне может быть отчасти связана с подсознательным желанием ласкать незнакомое женское тело.

Он возмущенно открывает глаза:

— Это совершенно необоснованное заключение.

— Напротив, у него имеются весьма веские основания. Моногамия — биологическая бессмыслица, мимолетный эпизод в истории человечества. Истинная эволюционная функция мужчины — и ваша в том числе — вводить сперматозоиды, то есть ваши гены, в лоно как можно большего количества женщин. — Она ждет. Он молчит. Тогда она продолжает, понизив голос: — Повторяю. Поместите руки куда хотите.

Он вглядывается в ее глаза, пытаюсь отыскать в них хоть намек на иронию, юмор, на человечность, в конце концов. Ничего. Она оказалась неколебимо равнодушной к его принципам, его стыдливости, его чувству приличия. Наконец он решился, снова закрыл глаза и отыскал ее груди, потом повел руки вверх, к нежному горлу, нащупал выемки там, где шея соединяется с плечами, и снова вниз, к груди, вдоль боков — к плавному изгибу талии... невесомая ткань распахнутого халата касалась тыльной стороны его ладоней. Доктор Дельфи подвинулась и оперлась коленом о край кровати.

— Куда хотите. — Его правая рука направилась к внутренней стороне бедра и остановилась. — Ну же, мистер Грин! Вы же не в первый раз в жизни касаетесь области лобка. Я вас не укушу.

Он убирает руку.

— Это совсем другое. А как же жена?

— Миссис Грин полностью в курсе дела: я ознакомила ее с сутью этого метода еще до того, как вы проснулись. У меня в кабинете. Она подписью подтвердила свое согласие.

Неожиданно в его сознание вторгается некий давний-предавний факт, милосердный союзник. Он открывает глаза и обвиняюще смотрит ей в лицо:

— Я полагал, что у вас существует такая вещь, как клятва Гиппократова?

— Врачу следует использовать все доступные ему, или ей, средства для излечения пациента, доверенного ему, или ее, заботам. Если мне не изменяет память.

— Должные средства.

— Должные средства — это наиболее эффективные средства. Именно их вы и получаете.

Невидимые руки сестры не оставляли его в покое. Он еще несколько мгновений вглядывался в глаза врача, обнаружил, что не может вынести светившееся в них, теперь уже не скрываемое, раздраженное неодобрение. И снова опустил веки. Мгновение спустя доктор Дельфи наклонилась к нему еще ниже. Губ его коснулся сосок — раз, другой... аромат цветущего мирта усилился, пробуждая в отдаленных укрытиях мозга смутные воспоминания о залитых солнцем склонах над лазурными морями. Он открыл глаза: сумерки под пологом нависшего над ним халата; сосок снова настойчиво предлагал себя его губам. Он повернул голову набок.

— Бордель!

— Великолепно! Все, что угодно, лишь бы подстегнуть ваше либидо.

— Вы вовсе не врач.

— Путы. Хлыст. Черная кожа. Все, что вам на ум придет.

— Это чудовищно!

— Хотите, чтобы сестра разделась?

— Нет!

Доктор чуть отстраняется.

— Надеюсь, вы не расист, мистер Грин?

Не поворачивая головы, он произносит:

— Я требую, чтобы сюда пришел заведующий отделением.

— Я — заведующая отделением.

— Только до тех пор, пока я не вышел отсюда. Я добьюсь, чтобы вас лишили права лечить!

— Надеюсь, вы заметили, что вам уже не так трудно подбирать слова? Так что, может быть, есть какой-то...

— Катись к чертям собачьим! Иди проссысь!

Молчание. Тон врача становится еще более ледяным:

— Возможно, вы не подозреваете об этом, мистер Грин. Однако любое использование образов, связанных с дефекацией или мочеиспусканием, есть симптом продуцируемого определенной культурой чувства сексуальной вины и подавления сексуальных импульсов.

— Отзынь!

И снова — молчание. Потом — голос сестры:

— Все пропало, доктор.

Он слышит раздраженный выдох доктора Дельфи; потом, после некоторого колебания, она убирает колено с кровати и теперь просто стоит рядом.

— Сестра, боюсь, так мы с этим не справимся. Придется применить ПС.

Слышится шуршание ткани. Снова встревожившись, он со своей подушки бросает испуганный взгляд в сторону доктора Дельфи и видит, что та сняла халат и, ничем не прикрытая, протягивает его над кроватью сестре. Смерив его столь же неприкрыто раздраженным взглядом, она произносит:

— Вы получаете это лечение исключительно потому, что вы — пациент платный. Довожу до вашего сведения, что, будь вы на государственном страховании, я бы не стала терпеть подобное поведение. Ни секунды. — Скрестив на груди руки, она продолжает: — Не говоря уже ни о чем ином, список больных, ожидающих мест в нашем отделении, просто огромен. Мы работаем в постоянном напряжении.

Он собирается с силами и храбро глядит ей в глаза:

— Что такое «ПС»?

— Плексиколический стимулятор⁶. — Она нетерпеливо оборачивается на дверь: — Сестра, пожалуйста, поторопитесь. Вы же знаете, сколько больных у меня на сегодня назначено.

Пока они разговаривали, сестра Кори отошла к двери и повесила халат доктора на крючок. Она не вернулась, а принялась отстегивать белый передник — на груди, на спине, потом повесила его туда же, где висел халат. Затем она занялась пуговицами на голубом форменном платье. Услышав голос врача, заспешила, стянула платье через голову, ее смуглые руки аккуратно поместили платье поверх передника; все это она увенчала белой шапочкой, а затем сбросила туфли. И, ступая легко и изящно, возвратилась к своей стороне кровати, такая же обнаженная, как и доктор Дельфи. В неопишуемой панике он словно загипнотизированный глядел на эти два нагих женских тела — темное и светлое. Женщины были одного роста, хотя двадцатилетняя сестричка была не такой тоненькой, как доктор Дельфи, и не такой профессионально строгой: ему показалось, что он разглядел тень сардонической усмешки в устремленном на него взгляде, в складке чуть полноватых губ. Доктор Дельфи заговорила снова:

— Прежде, чем мы начнем, я полагаю, мне следует сообщить вам, что ваше упорство может оказаться не столь высокоморальным, как вы воображаете. Мы прекрасно осведомлены о том, что некоторые из наших пациентов противятся лечению, так как подспудно надеются, что мы будем вынуждены прибегнуть к методам... так сказать... извращенным. Мы и правда время от времени применяем их — в случаях действительно запущенной эротической сопротивляемости. Но не на такой ранней стадии, как ваша. Так что, если вы втайне стремитесь принудить нас к ценонимфической или псевдоспинальной стимуляции, я могу сразу заявить вам — ни за что! Вы правильно меня поняли?

— Да Господи Боже мой! Я даже не знаю, что это такое!

— То же относится и к бразильской вилке.

— Слыхом не слыхивал.

Это заставило ее ненадолго замолчать. Доктор Дельфи приняла теперь вид классной дамы, которая понимает, что ее нарочно провоцируют, чтобы она вышла из себя. Она подперла бока руками.

— И последнее, мистер Грин! Мы также не исключаем весьма незначительной возможности применения криптоамнезии. — Она помолчала, желая увериться, что он понял предупреждение. — А теперь — на бок, пожалуйста. Лицом ко мне.

Рука медсестры скользнула под его плечо, мягко подталкивая повернуться.

— Ну же, мистер Грин! Что миссис Гранди⁷ говорит? Будьте хорошим мальчиком!

С подозрением и неприязнью он взглянул на улыбающееся темнокожее лицо, но все-таки повернулся на бок. Точно выверенными движениями и абсолютно одновременно, что, несомненно, говорило о значительном профессиональном опыте, обе его медопекунши тоже оказались в кровати, каждая со своей стороны. Сестра Кори — у его спины, а доктор Дельфи, приведя его в абсолютное замешательство, — спиной к нему, впереди. Тут он почувствовал, как обе они одновременно подвинулись — одна вперед, другая соответственно назад, чтобы более плотно зажать его между своими телами. Ничем не спровоцированное движение бедер темнокожей девицы у самых его ягодиц подтвердило самые худшие его подозрения на ее счет. Он не сводил глаз с темных волос доктора Дельфи, с шарфика, оказавшегося у самого его носа. Молчание длилось недолго. Доктор Дельфи заговорила. Тон ее был более спокойным, будто она пыталась, правда не очень успешно, подойти к проблеме не столь безапелляционно:

— Так. Теперь положите левую руку мне на грудь.

Она поднимает свою руку высоко вверх. Поколебавшись, он следует ее указанию, как мог бы, по указанию инструктора, положить руку на какой-нибудь тумблер или выключатель. Доктор опускает свою руку. Ладонь ее ложится на его пальцы, удерживая их на месте.

— Теперь слушайте меня внимательно, мистер Грин. Попробую в последний раз объяснить вам. Память тесно связана с нашим «эго». Ваше «эго» проиграло битву с вашим же «супер-эго», возымевшим намерение его подавить или цензурировать. Сестра Кори и я всего-навсего хотим попытаться призвать на помощь третий компонент вашего духа — «ид»⁸. Ид и есть тот самый сплюснутый орган вашего тела, что прижат сейчас ко мне пониже спины. Потенциально именно он является самым верным вашим другом. И моим, поскольку я ваш врач. Вы понимаете, о чем я говорю?

В этот момент сестра Кори поцеловала, а затем лизнула ему шею пониже затылка.

— Это — возмутительное нарушение права личности на уединение.

— Боюсь, это говорит ваше «супер-эго». Данная процедура подобна применению искусственного дыхания «изо рта в рот», так же как амнезия подобна утоплению. Вы следите за моей аргументацией?

Он не сводит глаз с ее волос.

— Все равно я протестую.

Она вздыхает, но голос ее остается нарочито ровным и безразличным:

— Мистер Грин, я вынуждена заявить вам, что ожидала бы такого отношения от человека культурно недоразвитого. Но от вас — с вашим происхождением и образованностью!

— Заявляю протест по моральным основаниям.

— Не могу этого принять. Мне нужна помощь вашей психики.

— Знаете, может, в данный момент я и не знаю, кто я такой. Но я, черт бы меня побрал, совершенно уверен, что тот, кем я был, никогда в жизни не...

— Простите, но это вряд ли можно считать логичным доводом. Вы не знаете, кто вы такой. Отсюда следует, что с равной математической вероятностью вы вполне могли быть неразборчивы в сексуальных связях. С точки зрения статистики могу сообщить вам, что упомянутая вероятность оказывается несколько более чем равной. Учитывая особую социальную среду и ваш род занятий. А он, кстати говоря — и об этом я должна предупредить вас, — характеризуется весьма длительной и хорошо документированной историей вашей неспособности встречать лицом к лицу факты реальной жизни.

— Эта чертова баба успела вам наговорить гадостей.

— Гораздо менее гадких, чем ваше враждебное к ней отношение.

— Просто я не мог вспомнить, кто она такая.

— Но вы, кажется, предпочитали смотреть на меня, хоть и вовсе не знали, кто я такая.

— Вы показались мне более понимающей. В тот момент.

— И более привлекательной? — Он колеблется.

— Возможно. — Помолчав, добавляет; — Физически.

— Выражаясь бытовым языком — вы меня захотели?

— Слушайте, я очень болен. Секс — последнее, что могло бы занимать мои мысли. И ради Бога, скажите, чтобы сестра перестала присасываться к моей шее!

— А вы предпочли бы, чтобы она присасывалась к другим местам вашего тела?

Он молчит. Потом:

— Это отвратительно!

— Почему, мистер Грин?

— Вы и сами прекрасно знаете почему.

— Нет. Я вовсе не знаю почему.

— Слушайте, уважаемая, я, может, и забыл какие-то факты. Но не забыл о приличиях. Если бы я и о них забыл, я бы уже придушил вас обеих. Почти наверняка.

Она плотнее прижимает его пальцы к своей груди.

— Именно это сильнее всего меня и озадачивает, мистер Грин. Почему ваше столь явное отвращение к нашим методам находит свое выражение лишь в словах?

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

— Вы не сделали ни одной попытки оттолкнуть нас, выскочить из кровати, уйти из палаты. Не совершили ни одного из тех действий, на которые вполне способны. И которые явились бы адекватным физическим эквивалентом состояния вашей психики.

— При чем же тут я, если я наполовину еще под наркозом?

— Ах вот оно что! Но вы вовсе не под наркозом, мистер Грин. Вы могли так себя чувствовать, когда только начали просыпаться. Но проснулись вы как раз оттого, что я ввела вам антиуспокоительное. Стимулянт. Оно давным-давно должно было оказать свое действие. Так что, боюсь, объяснить этим свое бездействие вам не удастся. — Он чувствует себя, словно шахматист, неожиданно угодивший в расставленную ловушку. Доктор снова плотнее прижимает к себе его руку. — Я вовсе не хочу критиковать вас, мистер Грин. Просто задаю вопрос.

— Потому что... потому что я же ничего не помню! Полагаю, тот, кто отправил меня сюда, все-таки знал, что делает.

— Если я правильно понимаю, вы допускаете, что наши методы имеют под собой некоторые основания?

— Просто я не выношу вашу манеру вести себя.

Некоторое время доктор молчит; потом спокойно убирает его руку со своей груди, чуть отодвигается и поворачивается на другой бок, лицом к нему. Теперь ее глаза оказываются так близко, что ему трудно сфокусировать собственный взгляд, но что-то в них, да и в выражении ее лица, говорит ему, что она поняла — силовые методы больше применять не следует. На этот раз глаза опускает она. И говорит шепотом, так тихо, будто не хочет, чтобы ее услышала сестра Кори у него за спиной:

— Мистер Грин, наша работа здесь не так уж легка. Мы ведь тоже не вовсе лишены обычных человеческих чувств. Бывают пациенты... ну, честно говоря, с которыми установить контакт легче, чем с другими. Мне не следовало бы этого говорить, но, когда я обследовала вас при поступлении, я не испытала — а это, признаюсь, со мной иногда бывает — сожаления, что не занялась педиатрией, как поначалу намеревалась. Я, между прочим, даже с нетерпением ждала, когда можно будет начать интенсивно работать над вашим излечением. Отчасти потому, что, судя по некоторым специфическим чертам, могла ожидать, что вы и сами с увлечением станете работать в полном единении со мной. Ну, строго говоря, насколько это возможно для пациента. Я со всей искренностью прошу вас простить меня, если я слишком понадеялась на этот свой прогноз. С другой стороны, хотелось бы верить, что вы поймете: в нашем отделении не может работать тот, кто не ставит здоровье пациента превыше своих собственных чувств. Кто не научился жертвовать чисто факультативными понятиями стыдливости и права личности на

уединение, возложив их на великий алтарь неотложных человеческих нужд. — Она серьезно и вдумчиво глядит ему в глаза. — Надеюсь, это-то вы можете принять?

— Если это необходимо.

— Мистер Грин, через минуту или две я закрою глаза. Мне хотелось бы, чтобы вы поцеловали меня в губы, затем повернулись и поцеловали сестру. Просто в знак человеческого отношения друг к другу в ситуации, достаточно трудной для всех троих. И тогда, может быть, мы сумеем начать все сначала и помочь вам достичь эрекции и проявить тот эротизм, на который, я уверена, вы весьма способны.

Прежде, чем он успел ответить, она протянула ему губы; теперь в ней ничего не оставалось от врача, от классной дамы, даже от взрослой женщины: словно застенчивая племянница ожидала поцелуя от дядюшки. Он почувствовал, как его мягко подталкивают в спину, осторожно поощряя сделать то, о чем просят. Он взглянул на лицо, что было так близко от его собственного, на темные ресницы, опущенные на бледную кожу щек, на классический нос и прекрасных пропорций рот. В иных условиях можно было бы назвать это лицо красивым, в нем превосходно уравновешивались одухотворенность и потаенная чувственность. Он заколебался, все еще сопротивляясь, все еще ощущая, что несправедливо загнан в ловушку. Но необходимо было что-то сделать. Он вытянул шею, торопливо коснулся сжатыми губами протянутых ему губ и тотчас же отстранился.

— Благодарю вас, мистер Грин. — Глаза ее раскрылись, перед ним снова был врач. — Ну что ж. Теперь я уверена, что вы не расист, но вы были не очень-то добры с сестрой Кори. Опасаясь, что некоторые факты могли быть забыты вами в связи с утратой памяти, напомню, что вклад Вест-Индии в успешную работу нашей больницы всегда был весьма существенным. Я уверена, что сестра Кори оценит, если вы повернетесь и одарите ее таким же знаком взаимопонимания, как и меня.

Она чуть отстранилась, и он почувствовал, что тело медсестры сделало точно такое же движение. Профессионально строгие глаза доктора Дельфи на мгновение удержали его взгляд, и вполне возможно, что именно для того, чтобы уйти от этих глаз, он в конце концов повернулся. Руку он решительно и твердо держал вытянутой вдоль бока, будто стоял по стойке «смирно». Ладонь сестры Кори поднялась к его плечу. Глаза ее, как раньше у доктора, были закрыты, полноватые губы протянуты ему так же покорно, по-детски, в ожидании поцелуя. Но тело ее казалось теплее, изгибы его — более плавными и податливыми, чем у доктора Дельфи, и, хотя она лежала совершенно неподвижно, он ощутил дремлющую в ней живую силу.

Он наклонил голову — запечатлеть и на ее губах знак взаимопонимания. Но на этот раз не встретил той же пассивности. Ладонь сестры Кори скользнула ему за голову. Не успели их губы разъединиться после его быстрого, словно клевок, поцелуя, как слились снова. Ее рот слегка приоткрылся, и он различил тот же самый смолистый аромат, что и у доктора. Вероятно, в жидкость для полоскания рта входил тот же антисептик, что и в мыло, и пользовался им весь штат больницы. Прошла минута, две, он попытался отстраниться, но ладонь у него на затылке настоятельно удерживала голову в том же положении, а девичье тело прижалось теснее. Ее язык проник к нему в рот. Потом смуглая нога приподнялась и, согнувшись в колене, тихонько вползла на его ногу, еще теснее сблизив их тела.

Он был теперь несколько не менее напуган и шокирован, чем раньше, однако ему по-прежнему не хватало воли оттолкнуть эту молоденькую и такую настойчивую медсестру. В конце концов, она не так уж и виновата... к тому же он испытывал некоторую приятность от возможности натянуть нос докторице, проявив больше желания сотрудничать с ее подчиненной. И он не ошибся в своем суждении о скрывавшейся в ней живой силе: это беспокойное и гибкое существо заставило его снова откинуться на подушку и почти накрыло его своим телом, как бы желая продемонстрировать собственную способность продлить и углубить поцелуй. Миг, другой, и сестре удалось улечься на него целиком. Доктор Дельфи тем временем, видимо, успела слезть с кровати. Он почувствовал, как сестра Кори нацупала его неподвижно лежащую на подстилке

ладонь и положила на упруго округлый контур своей правой... ну, скажем, щеки. К ставшим теперь бесстыдно недвусмысленными синекдохам⁹ ее языка добавилось содрогание и трепет обнаженной плоти под его ладонью. В напрасной попытке утихомирить сестру, он приподнял правую руку и опустил ее на другую щеку.

Словно в ночном кошмаре, он сознавал, что неминуемо скатывается в пропасть и нет сил предотвратить падение. И все же где-то в глубине ослепленной души его этическое «я» восставало против такого малодушия, такой позорной уступки самым низменным инстинктам. В восстании участвовало и его эстетическое «я», «я» человека, обладающего тонким вкусом, истинного, хоть временно и потерявшегося Майлза Грина, который — он понимал это всем своим существом — ни за что в жизни не позволил бы себе оказаться в таком вульгарном и физически унижительном положении, ни на секунду не стал бы прислушиваться к обманчиво-благовидным объяснениям доктора Дельфи. Вдруг, вызвав радостное волнение, ему пришла в голову мысль, что интуитивное представление о том, каким он никогда не мог быть, возможно, станет ключом к осознанию того, кем он был на самом деле, и он принялся размышлять (с некоторым трудом, ибо сестра Кори приподнялась на руках и взялась щекотать его лицо и губы сосками полных и упругих юных грудей) о том, каков же был род его занятий. И почти тотчас же он получил свидетельство, что находится на верном пути и что доктор Дельфи, смутно намекнув на что-то далеко не почтенное и довольно низкого разбора, опять-таки сознательно вводила его в заблуждение.

Ниоткуда, каким-то чудесным образом, пришло первое воспоминание о чем-то несомненно автобиографическом, имевшем прямое отношение к его закрытому от взора прошлому. И хотя оно явилось ему всего лишь смутным представлением, без конкретных деталей, он знал, что это как-то связано с бесчисленными рядами увлеченно внимающих лиц и что внимали они именно ему. В этом он был совершенно уверен. Это был настоящий прорыв, и в радостном волнении он, сам того не сознавая, впился пальцами в ягодицы сестры Кори; она, разумеется, поняла этот жест совершенно превратно, так что ему пришлось в ответ вынести пароксизм страсти, выразившийся в бурных движениях как верхней, так и нижней части ее тела. Но он вовсе не желал отвлекаться от хода собственных мыслей. Поэтому разумнее всего было поощрить ее не отвлекаться от хода ее собственных мыслей. Исправив положение рук на обнаженных щеках и пережив новый приступ ее содроганий, он смог опять сосредоточиться на своем открытии.

Однако его искалеченная память отказывалась предоставить ему более надежные ключи к разгадке прошлого; тем не менее он не сомневался, что ему было привычно так или иначе выступать перед публикой. Он рассеянно ласкал отвердевший сосок кончиком языка, просто чтобы утихомирить лежащее на нем смуглое тело, одновременно пытаясь пробудить в себе воспоминание о какой-нибудь престижной и вполне достойной профессии. Это, по всей видимости, было что-то весьма далекое от фривольности всяческих искусств, от развлекательности... юриспруденция, может быть? Церковь? Вряд ли подходит. Директор частной школы? Возможно, а может, военный флот? Капитан Королевского флота Майлз Грин... звучит вполне правдоподобно, однако не вызывает в мозгу более точных и окончательных ассоциаций. Мелькнула мысль, что одна из театральных профессий могла бы, вообще-то говоря, по всем статьям подойти, поскольку брезжило что-то чарующее, полускрытое мглой в том расплывчатом и все же достаточно определенном ощущении внимающей аудитории. А с другой стороны, актеры ведь не были социально ответственными людьми, а истинный Майлз Грин — был, в этом он становился все более и более уверен.

Ибо все его столь же расплывчатое, но все же достаточно определенное реальное «я» восставало, поднималось одновременно с сестрой Кори, которая вдруг поднялась совсем прямо, поставив колени по обе стороны его торса, поднималось против самой мысли о том, что когда бы то ни было, в здравом уме и твердой памяти, он мог позволить такому с ним случиться. И вдруг — новое озарение. А не похоже ли более всего, думал он, в то время как темнокожая

девушка, схватив его ладони, безжизненные, словно банные перчатки или губки, вела их вверх по гладкому животу, чтобы омыть ими упругие конусы плоти, увенчанные более темными окружками на концах, — не похоже ли, что он — Член Парламента?! Решительный противник сил зла, насаждающих в обществе мораль вседозволенности?

А что говорила эта злосчастная докторица о неспособности встречать лицом к лицу реальные факты жизни? Разве это не похоже на обычные фальшивки, на по-детски злобные выпады, столь любимые чернью, нападающей на тех, кто избран представлять ее интересы? Он чувствовал необычайное возбуждение от интуитивной уверенности, что вот наконец-то — тепло, просто горячо... и еще большее возбуждение оттого, что ведь она сказала еще кое-что так его взволновавшее. Ведь и правда — почему он немедленно не покинул палату? Впрочем, погоди-ка: если он и вправду Член, столкнувшийся с отвратительным злоупотреблением врачебными обязанностями, злоупотреблением, значение которого выходит далеко за пределы одной этой больницы? Тогда все становится на свои места. Выбор между личным отвращением и общественным долгом может быть только один, что когда-то продемонстрировал Гладстон¹⁰, работая с проститутками.

Гладстон! Он вспомнил про Гладстона! И в третий раз он ощутил frisson¹¹ начинающегося открытия себя, ибо на ум ему пришли воспоминания не только о Гладстоне, но и о более современных политических деятелях, самоотверженно рискнувших спуститься в секс-преисподнюю притонов Гамбурга и Копенгагена во имя своих избирателей. Он чувствовал невероятное облегчение. Пусть и бессознательно, но, не покинув палату, он сделал совершенно правильный, ответственный выбор, он сделал то, что — теперь он был в этом совершенно уверен — был избран делать.

И если это так, — Господи Боже мой! — наступит день, когда он заклеит этого врача, больницу, всех этих мошенников с их лечебными процедурами, разделается с ними раз и навсегда. В этот момент его руку поместили меж распахнутых бедер стоящей над ним на коленях медсестры, приглашая двинуться дальше. Нет, он не из молчаливых Членов, он привлечет к себе взгляд спикера и встанет, ничто не помешает ему встать, — уверенно, с достоинством, в полную силу, торжественно и прямо подняться во весь свой внушительный рост. «Да знает ли министр о все возрастающем числе случаев сексуальных злоупотреблений, совершаемых нимфоманами-врачами самых разных рас и национальностей в отношении пациентов с нарушениями психики, в одной из наших ведущих клиник? Осознает ли он, что их несчастные жертвы...»

Увы, дальнейшее составление обличительной речи стало невозможным, так как внимание сестры Кори оказалось, по всей видимости, отвлечено чем-то тоже торжественно и прямо поднявшимся позади нее. Рука ее отпустила его руку и протянулась назад.

— Мистер Грин! Получилось!

Миг — и она упала на него всем телом. Коротко, но страстно поцеловав его в губы, она, извиваясь, словно змея, соскользнула ниже вдоль его торса. Он почувствовал ее язык на своих сосках и оставил всяческие попытки представить себе, чем эта отвратительная сцена может закончиться.

— Достаточно, сестра. Сестра!

Второй, более резкий окрик заставил сестру замереть: голова ее, словно на подушке, покоилась у него на животе. Он открыл глаза. Доктор Дельфи стояла у кровати, скрестив на груди руки, и взирала на распростертую помощницу с гораздо большим неодобрением, чем раньше выпадало ему. Сестра Кори поднялась — сначала с него, потом с кровати — и стояла теперь с низко опущенной головой.

— Простите, доктор.

— Сколько раз я вам говорила, что здесь мы используем последовательность Хопкинса-Сещольского?

— Я забыла.

— Уже третий раз на одной неделе.

— Но ведь сработало, доктор.

— Вопрос не в том, сработало или не сработало. Я говорю о правилах, существующих в нашем отделении. Для вашего же блага, сестра. Я постоянно повторяю вам, что гиперстимуляция только удваивает количество работы. Поэтому я и настаиваю на Хопкинсе-Сещольском. Вы прекрасно это знаете. — И добавила с назидательностью, свойственной людям, с удовольствием подчеркивающим свое более высокое положение: — Мне не хотелось бы обращаться из-за вас к старшей сестре.

Сестра Кори, стоя с противоположной стороны кровати, в ужасе взглянула на нее:

— О, пожалуйста, не говорите ей, доктор Дельфи. Пожалуйста. Эта старая корова у меня уже вот где сидит.

— Сестра! Вам не следует говорить так о старших по должности при пациентах!

Сестра снова опускает голову:

— Просто все так про нее говорят, доктор.

— Это не оправдание.

— Честно, я больше не буду, доктор. Чтоб мне провалиться.

Доктор Дельфи смягчается:

— Прекрасно. Но смотрите, чтобы мне не пришлось снова вести с вами этот разговор. — Наконец она отводит взгляд от сестры и обращает его вниз, на пациента. — Пожалуйста, простите меня, мистер Грин. Сестра Кори еще не закончила период обучения в нашем отделении. — Теперь она смотрит на нижнюю часть его тела. — Так. Давайте посмотрим, как поживает ваша самая чувствительная и здравомыслящая часть.

Он чувствует, как она взвешивает на руке эту часть и оценивает ее твердость. Он закрывает глаза.

— Давайте-ка попробуем чуть-чуть это увеличить. На сантиметрик, не больше. — Она поглаживает эту часть пальцами. — Чудесно. Так. Еще. Еще разок. Прекрасно. — Голос ее приобретает новый тон, почти хвалебный, в нем даже звучат удивленные нотки. Она снова выпрямляется, стоит прямо над ним. — Я сама закончу процедуры сегодня, поскольку это наш первый сеанс. В дальнейшем это будут делать сестры. Я, разумеется, буду время от времени приходить и проверять, как вы прогрессируете. Согласны?

Он открывает глаза, но не может произнести ни слова, все, на что он сейчас способен, — это не обещающий ничего хорошего взгляд, который она игнорирует. Без всякого предупреждения, оперев левое колено о кровать, она легким движением гимнастки оказывается верхом на своем пациенте.

— Введение осуществит сестра.

А он способен только смотреть, не в силах поверить в происходящее, несмотря на то что оно уже происходит. Он чувствует, как доктор Дельфи, опираясь на руки, со знанием дела опускает к нему лоно, приподнимается, выгибается, принаравливается. Введение осуществляется. Он попал в переплет... он тонет... он погребен...

— Надеюсь, вы не испытываете неудобства?

Он смотрит не отрываясь. Кажется, она обрела совершенно иную индивидуальность. В ней нет ни раздражения, ни злости, только спокойная сосредоточенность. Она снова говорит с ним, не замечая ни его пристального взгляда, ни того, что этот взгляд пытается выразить.

— Руки мне на грудь, пожалуйста.

Он закрывает глаза. Что-то заставляет его поднять руки и положить ладони ей на грудь.

— Вот это сила духа! Попробуйте теперь оттянуть свой оргазм. У меня его не будет. — Она начинает медленно двигаться вверх-вниз, по-прежнему опираясь на руки. Прижавшись к нему лобком, она на мгновение приостанавливается: — Мне хотелось бы задержать вас как можно дольше, так что, пожалуйста, сообщите мне, если найдете эти движения гиперстимулирующими.

Он плотно сжимает губы, решив, что не произнесет ни слова. Проходит полминуты или около того. Поясничные упражнения продолжаются.

— Очень хорошо. Прекрасная выдержка.

Терпение его лопається, он открывает глаза:

— Не представляю себе, как вы можете даже думать о том, чтобы делать такие вещи!

Она снисходительно, сверху вниз, одаряет его мимолетной улыбкой:

— Полагаю, это потому, что у вас нет научного образования, мистер Грин.

— Как уличная женщина!

— Боюсь, среди современных социологов вы найдете не очень много таких, кто не считал бы, что проститутки выполняют весьма полезную социальную функцию. — Ее лобок снова на миг замирает, прижавшись к нему, и снова отстраняется. — Начнем с того, что случаи изнасилований значительно возросли бы в числе, если бы не было проституток. К тому же имеется достаточно свидетельств, что они снижают давление личных — а следовательно, и коллективных — стрессов иного характера. — Она вдруг прекращает движение их соединенных чресел. — Теперь мы немного отдохнем.

Он опускает руки.

— Но ведь именно это здесь и происходит. Изнасилование. Только наоборот.

— Да полно вам, мистер Грин! Не хотите же вы сказать, что только из-за того, что я временно завладела несколькими дюймами вашего тела, медицински и биологически уже давно утратившими свое значение... Я полагала, что этот вид инфантильной мужской фобии сохранился лишь в самых примитивных обществах. — Он закрывает глаза. — У меня и сил не хватило бы с вами справиться. Я ведь всего-навсего обнаженная женщина, мистер Грин.

— Это я успел осознать.

— Думаю, вы это осознали бы гораздо успешнее, если бы открыли глаза и более эффективно воспользовались руками. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели и почувствовали мою незащищенность. Увидели, как я мала и слаба по сравнению с вами... иначе говоря, как легко меня изнасиловать. — Он не поддается. — Мистер Грин, я не хочу показаться тщеславной, не хочу хвастаться своим профессионализмом, но я достаточно долго проработала в этом отделении, чтобы понимать, что ваше нежелание дать волю совершенно естественным инстинктам абсолютно необычно. Одна из причин, которую я уже теперь могу определить, заключается в том, что вы отдаете предпочтение вербализации чувства вместо прямого осуществления этого чувства на практике, что в свою очередь означает...

— О Господи! Да кто же тут больше всех говорит-то?!

Теперь ее голос обретает невыносимо чопорный, строго научный — если бы только этот эпитет не противоречил физическим обстоятельствам дела — тон:

— Я говорю, чтобы объяснить. И выяснить, подтверждает ли эрекция словесно выраженную враждебность. Рада отметить, что не подтверждает.

— Подтверждала бы, если бы я мог хоть как-то повлиять на эту чертову штуку.

Она улыбается:

— Ну вы и правда уникам, мистер Грин. Вначале — боязнь кастрации. Теперь — боязнь наслаждения. Боюсь, нам придется сделать из вас чучело и экспонировать в музее.

— Могу сообщить вам, что теперь единственное наслаждение, о каком я мечтаю, — это не оплатить представленный вами счет.

— Мистер Грин, в этом нет никакой необходимости, если только ваши угрозы не возбуждают вас еще больше: в этом случае, прошу вас, продолжайте. Мы здесь прекрасно знаем, что для некоторых мужчин понятие совокупления неотделимо от понятия осквернения, профанации, связанного с неразрешенной...

— Я могу сообщить вам и еще кое-что. Эта ваша сестра разбирается в том, как надо обращаться с пациентами в тыщу раз лучше, чем вы. Она по крайней мере делала свое дело с увлечением. Это вам надо у нее поучиться, а не наоборот.

— Я уже объяснила, почему не могу проявить к вам никаких чувств, мистер Грин. Боюсь, вам придется к этому привыкнуть. Как, кстати говоря, и сестре Кори. Потому я и отчитала ее. Наша единственная функция — обеспечить вам источник эротического возбуждения. В этой области, в области различных методик совокупления — разумеется, в разумных пределах и в зависимости от состава сотрудников, — вам следует только попросить, и мы сделаем все, что в наших силах. Если вы предпочитаете иные позы, мы можем предложить вам почти все имеющиеся в «Кама Сутра», в «Хокуата Моносаки», у Аретино, Кинси, Сьестрема — исключая, разумеется, бразильскую вилку, о чем я вас уже предупреждала, — Мастерса и...¹²

— А знаете, что я вам еще скажу? В вас самой эротики — как в том гребаном айсберге!

— Спасибо, что упомянули об этом, мистер Грин. Я глубоко верю в успех нашей терапии, особенно в тех случаях, когда достигается полное сотрудничество с пациентом. И вижу, что в данном случае показано балансирующее применение оральных процедур.

Прежде чем он мог произнести хотя бы слово в ответ, руки ее подогнулись и она упала ему на грудь. Он было попытался в последний момент ее оттолкнуть, но было слишком поздно. Несколько мгновений спустя она приподнялась на локтях, теперь лицо ее нависало прямо над его лицом. Он вглядывался в ее глаза ошеломленно и озадаченно, пытаясь понять, что же кроется в их глубине, за темно-карими радужками, но безуспешно.

— Ну вот, мистер Грин. Надеюсь, это убедит вас, что методика нашей клиники не исключает некоторых взаимных уступок эрогенным реалиям. — Она бросила взгляд на его губы, наклонилась и легко поцеловала их напоследок. — Чувствую, вы станете одним из моих лучших пациентов. — Она снова поднялась на руках. — Посмотрим, сумеем ли мы довести вас до соответствующей кульминации. Сестра! Вы готовы?

— Да, доктор.

Он глянул в сторону и увидел, как сестра, теперь уже полностью облаченная в униформу, поднялась со стула у углового столика, где до сих пор сидела, и подошла к ним. Тут он почувствовал, как напряглись вагинальные мускулы доктора Дельфи.

— Прекрасно, мистер Грин. Отличная работа. Теперь несколько ускорим темп. Не могли бы вы положить руки мне на бедра? Сожмите их покрепче. Я хочу, чтобы вы сами задавали ритм. — Процедура возобновляется в убыстренном темпе. — Не переусердствуйте, мистер Грин. Просто равномерно распределяйте толчки. Держитесь как можно дольше. — Она еще ниже наклоняет голову, вглядываясь туда, где соединяются их тела. — Замечательно. Отдых... Толчок! Еще раз. Вот и все, что вам нужно делать, мистер Грин. Отдых — толчок. И снова. Уверенный ритм, без перебоев, вот и весь секрет. Блеск! Еще раз. Со всего размаха. Прекрасно. Всем телом, пожалуйста. Держите ритм. Так полезней для вас, полезней и для вашего новорожденного.

— Для моего новорожденного?!

Однако доктор Дельфи слишком занята своим терапевтическим курсом, чтобы откликнуться. Он бросает отчаянный взгляд на сестру Кори, стоящую у изголовья кровати:

— О чем это она? Какой еще новорожденный?

Сестра прикладывает палец к губам:

— Вы просто сконцентрируйтесь, мистер Грин. Теперь уже недолго.

— Но я же мужчина, в конце-то концов!

— Вот и наслаждайтесь! — И сестра подмигивает ему.

— Но...

Тут резко вмешивается доктор Дельфи:

— Мистер Грин, прекратите вербализацию! — Дыхание ее стало прерывистым, ей приходится умолкать после каждой фразы. — Так. Последнее усилие. Я чувствую его приближение. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. От бедер. Изо всех сил. — Голова ее по-прежнему низко наклонена, — видимо, доктор Дельфи наблюдает за все усиливающимися, убыстряющимися движениями их слившихся чресел. — Ну вот... вот мы какие... великолепно. Великолепно. Теперь все в порядке. Продолжайте. Не останавливайтесь. Вплоть до последнего слога! Сестра!

Он смутно отмечает, что сестра Кори прошла к изножью кровати и исчезла из виду, так как энергично работающая доктор Дельфи, все еще опираясь на вытянутые руки, загораживает обзор.

— Ну, последний толчок. Еще один. Еще. Самый последний!

Она коротко вскрикивает, будто и вправду разрешилась от бремени, и движение прекращается. Молчание. Он сознает, что сестра Кори опять отошла к столу в углу комнаты. Доктор Дельфи не поднимает головы, концы ее шарфика спустились совсем низко. Она пытается отдышаться, делая частые вдохи, будто только что ныряла на большую глубину. Потом без сил опускается ему на грудь. Кожа ее стала влажной от пота, и он слышит, как колотится у нее в груди сердце. Но ее изнеможение — совершенно явно — результат физических усилий, а вовсе не бурных эмоций, так как лицо она от него отвернула.

Примерно полминуты или около того он взирает на потолок в состоянии запоздалого шока. Под конец ему все же не удалось настолько полно сохранить объективность, насколько хотелось бы, но он и не настолько увлекся, чтобы не отметить некоторые странные слова и неверные концепции... им овладевает ужасное подозрение: что, если, несмотря на ее утверждение обратного, он все же оказался в сумасшедшем доме, учреждении для умалишенных, и каким-то образом попал в руки двух других пациентов... пациенток... по недосмотру настоящих сестер и врачей? Но с какой стати мог он очутиться в подобном учреждении? И с какой стати мог подобный недосмотр иметь место?

Он незаметно глянул через всю комнату в сторону сестры Кори. Она сидела к нему спиной — не совсем, вполоборота, склонившись над бумагами, лежавшими на столе, — видимо, над историей его болезни. Ничто в ней не говорило о сумасшествии; наоборот, она так усердно вчитывалась в текст, останавливаясь то на одном, то на другом параграфе, что в ней приоткрылась теперь иная черта — старательность усердной ученицы. Да и тело той, что всей своей тяжестью лежала теперь на нем, выглядело не иначе как абсолютно нормальным. Ни рыданий, ни кудахтающего довольного смеха. Как ни странно, он находил молчание доктора Дельфи, ее очевидное изнеможение довольно трогательным; ему хотелось утешить ее, как хотелось бы утешить бегунью, выбившуюся из сил на дистанции, но так и не добившуюся победы (поскольку память о чем-либо ином, кроме его профессии — да даже и это, как он подозревал, представлялось хоть и вполне возможным, но все-таки недостаточно точным, — оставалась по-прежнему мучительно вне пределов досягаемости); так что он с некоторым опозданием позволил себе приобнять доктора Дельфи и легонько прижать к себе.

Теперь, в состоянии относительного покоя, в размеренно тикающей тишине, он принялся размышлять. Может быть, за этим фрейдистским жаргоном, в том, что говорила доктор Дельфи, все-таки кроется зернышко истины, какая-то строго клиническая правда? Если дать себе время подумать, может, лучше ему подождать с обличительно-разоблачительной речью в парламенте? Необходимо продолжить изучение вопроса. В конце концов, первейший долг каждого честного политика сегодня не столько разоблачать дурное, сколько не быть втянутым в это дурное — ни за что, ни при каких обстоятельствах.

Его взгляд снова устремляется в угол комнаты — туда, где виднеется затянутая в аккуратную униформу фигура сестры Кори, по-прежнему погруженной в изучение истории болезни. Изящные смуглые руки, стройные щиколотки и лодыжки под краем крахмальной голубой юбки... если его болезнь действительно настолько тяжела — а именно такое предчувствие у него теперь возникло, — тогда ему придется смириться с тем, что лечение может оказаться весьма долгим, и принять эту неизбежность, как подобает мужчине. Он вдруг испытывает необычайно сильное желание прошептать несколько слов в этом смысле, зарывшись лицом в темные волосы у самой своей щеки, но удерживается — это было бы самую малость преждевременно. Надо прежде всего подумать о том, как это повлияет на дальнейшее. Тем не менее он осторожно гладит влажную спину доктора Дельфи, по-доброму, по-братски, как бы молчаливо кое за что извиняясь, просто чтобы дать понять: он признает — она сделала все, что в ее силах, хоть и не добилась успеха.

Доктор Дельфи не откликнулась. Он заподозрил, что она на миг задремала. Что ж, он не против; наоборот, хоть и невольно, это его еще больше растрогало. Это доказывало, что ничто человеческое ей не чуждо. Вес ее стройного, изящного тела вовсе не был ему неприятен, формы у нее были почти столь же хороши, что и у сестры Кори. Вряд ли можно было при данных обстоятельствах считать, что, словно кошка, он сумел упасть на все лапы; но что-то подсказывало ему, что все могло бы быть гораздо хуже. Если подумать, он и сам ощущал приятную усталость во всем теле и потеря памяти тревожила его гораздо меньше, чем раньше.

Он закрыл глаза, но какой-то звук заставил его снова раскрыть их. Сестра Кори поднялась от стола и шуршала бумагами, постукивала ими по столу, складывая их вместе, выравнивая края. Она обернулась к нему, весело и живо, вполне оправившаяся от выволочки, и вернулась к кровати; глаза ее были устремлены на него, небольшая стопка листов прижата к груди.

— Ну, мистер Грин, ну молодец мальчик! И кому это тут удача привалила?

— Какая удача?

Она подошла на шаг ближе, встала совсем рядом и бросила взгляд на листки, перегнувшиеся через прижатую к груди правую руку; потом кокетливо и лукаво улыбнулась ему:

— Какой рассказ написал! И совсем один, без чужой помощи.

Ничего не понимая, он смотрел на ее глупо-сентиментальную улыбку. Сомнения, которые он так успешно отверг, охватили его с новой силой. Он в психиатрической больнице, девушка безумна, обе они безумны. Они наверняка знают, что он — значительная персона, почти наверняка Член Парламента. А теперь она пытается намекнуть, что он какой-то писака, жалкий новеллист или что-то вроде того. Это же абсурдно! Но дальше все стало еще абсурднее, так как сестра, явно пользуясь кажущимся забвением доктора Дельфи и снова нарушив все правила поведения медперсонала, уселась на край кровати.

— Вот постойте-ка, мистер Грин. Послушайте. — Она склонила хорошенькую головку, увенчанную белой шапочкой, и принялась читать верхнюю страницу, осторожно ведя пальцем по словам, словно касалась носика новорожденного или его крохотных сморщенных губ: — «ОНО сознавало, что погружено в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и о-ме-га...» — Она живо сверкнула улыбкой в его сторону. — Вы это так произносите, мистер Грин? Это греческое слово, да? — Не ожидая ответа, она продолжала читать: — «...сущего, над океаном легких облаков, и смотрит...»

ТР-РАХ!

II

Мнемозина — дочь Урана и Геи¹³, мать девяти муз, рожденных от Зевса, который принял образ пастуха, чтобы насладиться ее обществом; имя ее по-гречески означает «память». Мнемозине приписывается искусство рассуждения и наречения соответствующими именами всех вещей, с тем чтобы мы могли их описывать и беседовать о них, их не видя.

Lempriere. Under «Mnemosine»¹⁴

Эрато — покровительствовала лирике, нежной и любовной поэзии; изображалась в венце из роз и цветов мирта, с лирой в руке, с видом задумчивым, но иногда и весело оживленным; к ней обычно зывали влюбленные, особенно в апреле.

Lempriere. Under «Erato»¹⁵

Дверь палаты распаивается от яростного пинка ногой. В проеме возникает невообразимо злобное привидение, прямиком из ночного кошмара... Или, точнее, прямо с рок-фестиваля панков... черные сапоги, черные джинсы, черная кожаная куртка. Пол привидения не сразу становится очевиден: более всего оно наводит на мысль о гермафродитизме. Единственное, что можно сказать совершенно определенно, — это что оно в ужасающем гневе. Под черной курткой, увешанной невероятного размера английскими булавками (еще одна такая булавка свисает с мочки левого уха) и значками с изображением свастики, виднеется белая футболка с намалеванным на груди пистолетом. Торчащие иглами во все стороны волосы на голове тоже белые, абсолютно белые, как у альбиноса, невозможно понять отчего — от краски, от перекиси или от ужаса при виде лица, над которым растут.

Глаза пугающе обведены внушительными кругами черной туши, заставляя думать не столько о косметике, сколько о недавно проигранной кулачной схватке; это вполне сочетается с тем, как выглядит рот: губы, по всей видимости, начищены той же ваксой, что и сапоги на ногах, только что пинком распахнувших дверь. Левая рука с тесно сжатыми в кулак пальцами покоится на бедре, в то время как правая стиснула шею почти бестелесной электрогитары. За гитарой тянется недлинный хвост — обрывок разлохмаченного на конце шнура, выдранный из звукоусилителя с такой яростью, что шнур оборвался посередине.

Но запредельный ужас оставлен напоследок. Как ни трудно поверить, и в позе, и в строении лица кошмарного привидения, несмотря на отвратительную маскировку, видится что-то явно знакомое. Постепенно становится ясно, что это вовсе не гермафродит, не оно, а она, и не просто она, а абсолютный двойник доктора Дельфи, лежащей на кровати. Это можно определить по обведенным черными кругами глазам. А еще — по реакции того, на кого направлен злобный и обвиняющий взгляд этого жуткого клона. По некоторым признакам предполагаемый Член Парламента, хоть и явно потрясенный, не так уж удивлен. Высвободившись — с быстротой и энергией, до тех пор вовсе не характерных для его поведения, — он садится, опираясь на одну руку, бросает мимолетный взгляд на все еще лежащую ничком партнершу и снова всматривается в невероятную фигуру, торчащую в дверях; потом решается заговорить с ней:

— Вы... — Он сглатывает комок в горле. — Я... — Он снова сглатывает.

Единственная реакция дьявольского двойника заключается в том, чтобы прошагать на середину комнаты и резко там остановиться, широко расставив ноги. Гриф гитары теперь угрожающе выставлен вперед, словно дуло пулемета, и нацелен на бедную беззащитную

докторицу. Рука с грязными ногтями поднимается и резко ударяет по струнам — так мог бы какой-нибудь головорез в Глазго полоснуть бритвой по лицу. В палате раздается неописуемо громкий звон истерзанного арпеджо. Миг — и на кровати уже нет доктора Дельфи, лишь чуть заметная вмятина на подушке, где покоилась ее голова.

Сестра Кори, в испуге вскочившая на ноги, открывает рот, пытаясь закричать, но безжалостная гитара уже рывком направлена в ее сторону, и грязные пальцы успевают злобно полоснуть по стальным струнам. И вот сестра — изящные смуглые руки, бело-голубая униформа, испуганные глаза — мгновенно, как не бывало, растворяется в воздухе, оставив за собой лишь трепетание рассыпающихся машинописных листков. Бам-трам-блям — гремит кошмарная гитара... в ничто бесследно уходит каждый листок.

Завершив безжалостную и молниеносную бойню в честь дня святого Валентина, Немезида¹⁶ устремляет взор пылающих гневом глаз на пациента: словно менада¹⁷, она все еще пребывает во власти испепеляющей ярости. Она говорит, и речь ее звучит словно взрыв:

— Ах ты, ублюдок!

Майлз Грин выбирается из постели, торопливо стягивая за собой резиновую подстилку и используя ее как импровизированный передник.

— Минуточку! Вы, кажется, перепутали палату. Забыли, куда шли. И что хотели сказать.

— Женофоб гребаный! Шовинист!

— Спокойно, спокойно!

— Вот я покажу тебе «спокойно»! Дерьмец занюханный!

— Но не можете же вы...

— Чего это я не могу?

— Как вы выражаетесь?!

Ее черные как смоль губы искривляются в яростной издевательской ухмылке.

— Я, блин, могу выражопываться как захочу. И буду, будь спок.

Он отступает, плотно прижимая к животу резиновую подстилку.

— И этот наряд. Вы же на себя не похожи.

Она угрожающе наступает — один шаг, другой...

— Но нам ведь удалось как-то распознать, кто я. — Губы снова презрительно искривляются. — Несмотря на наряд. Не так, что ли?

Он отступил бы еще дальше, но обнаруживает, что стоит у обитой мягкой тканью стены.

— Просто мне пришла в голову эта мысль.

— Ни хрена тебе не пришло. Нечего лапшу на уши вешать.

— Маленький тест. Первые наметки.

— Катись в зад.

— Я думал, больше никогда вас не увижу.

— Ну вот, блин, ты меня опять, блин, видишь. Усек, нет?

Он пытается ускользнуть вбок, вдоль стены, но обнаруживает, что загнан в угол и стоит, прижавшись спиной к девичьим грудкам обивки, лицом к грозному гитарному грифу. Его награждают кислотно-щелочным взглядом, потом возмущенно трясут пальцем перед самым его носом.

— Ты хоть понимаешь, чего натворил, блин? Испортил мне самое клевое из выступлений за много лет. Мне стоило только один гребаный аккорд взять, и шестнадцать тыщ ребят тащились, как бешеные.

— Легко могу поверить.

— Думаешь, у меня получше дела не найдется, чем тут, как дерьмо в проруби, болтаться да порнуху разводить? У тебя что, совсем мозга за мозгу зацепилась?

— У меня создается впечатление, что уровни дискурса у нас с вами не вполне совпадают.

Она оглядывает его с ног до головы: во взгляде — тотальное презрение; потом лицо ее складывается в насмешливую гримасу.

— А как же! Совсем из памяти вон. Плюс обычные детали. — Углы ее губ саркастически ползут вниз. — Более глубокие уровни смыслов. Ха! — Она смотрит так, будто вот-вот плюнет ему в лицо. — Жалкий притворщик. Ты же, блин, теперь даже не представляешь, где они и что.

— Если вы не против, я бы осмелился заметить, что вы несколько переигрываете с «блином» и прочими вещами в избранной вами стихомитии¹⁸.

— Да пошел ты знаешь куда, с твоими стебаными замечаниями! — Она снова бросает на него испепеляющий взгляд. — Чесслово, блин, от тебя уже рвать тянет. Доктор А. Дельфи¹⁹ — ни хрена себе! Это что, по-твоему, каламбур? Дерьмо собачье! А сестра Кори?²⁰ Господи помилуй! Вонючее снобистское хлебово. Ты что, решил, весь долбаный мир до сих пор по-грецки разговаривает?

Он бросает на нее взгляд искоса, в котором сомнение и вопрос.

— Не в политику ли вы вдруг ударились?

Она трясет головой, снова впадая в ярость:

— Которые произведенья честные, то есть немецкие, всегда политические. Если их пишут не буржуйские зомби вроде тебя.

— Но вы же раньше...

— Не смей мне в нос тыкать тем, что я раньше. Не моя, блин, вина, если я оказалась жертвой исторического заговора фашиствующих мужиков.

— Но в последний раз, когда мы...

— Хватит заливать!

Он опускает глаза. Потом делает новую попытку:

— Очень многим и в голову бы никогда не пришло.

— Да пошли они все! — Она сердито тычет большим пальцем себе в грудь, туда, где на футболке намалеван пистолет. — Учти — сестричку охмурить не так-то легко. Не надейся и не жди. Кто ты есть-то? Типичный капиталистический сексуальный паразит. Только горя с тобой и нахлебалась, идиотка такая, с тех пор как решила время на тебя потратить. — Он и рта не успевает раскрыть — она продолжает: — Трюки всякие. Игрушечки. Только и пытается эксплуатнуть, и в хвост и в гриву. Но так и знай — это в последний раз тебе со мной удастся, ты, подонок! — Она лягает пяткой кровать. — Что ты из моего лица-то сделал? Из моего тела? Вырезалку картонную?

— Но я же дал всего лишь общее описание.

— Дерьмо!

— Мы же когда-то были такими друзьями!

Она передразнивает его тон:

— «Мы же когда-то были такими друзьями!» — и снова трясет головой в его сторону. — Я тебя с незапамятных времен насквозь вижу. Все, чего тебе надо, — это разложить меня побыстрому.

— По-моему, вы меня с кем-то путаете. С Вальтером Скоттом. А может, с Джеймсом Хоггом²¹.

Она прикрывает веки, будто считает до пяти, потом снова впивается в него уничтожающим взглядом:

— Господи, вот если бы ты тоже был персонажем! И я могла бы просто стереть тебя со всеми твоими бездушными, бесполоыми, бумажными марионетками.

Она отирает рот тыльной стороной ладони. Он предпочитает немного помолчать.

— Вы сознаете, что ведете себя, скорее, как мужчина?

— Эт ты что хочешь этим сказать?

— Моментальные оценочные суждения. Интенсивное сексуальное предубеждение. Не говоря уже о попытке укрыться за ролью и языком, свойственными среде, к которой вы вовсе не принадлежите.

— Закрой варежку!

— Начнем с того, что вы смешали формы трех совершенно различных субкультур, а именно спутали бритоголовых с «Ангелами ада» и панками. А они, знаете ли, совершенно не похожи друг на друга.

— Да заткнешься ты когда-нибудь, черт стебанный!

Глаза ее снова мечут черный огонь, но Майлз Грин чувствует, что ему наконец удалось ответить, пусть и не таким уж сильным, но все-таки ударом на удар, потому что она вдруг отворачивается от него, по-прежнему стоящего в углу, через голову стягивает с плеча ляжку гитары и сердито швыряет инструмент на кровать. С минуту она так и стоит отвернувшись. Куртка ее на спине украшена изображением черепа — белого на черном, под черепом — слова, начертанные нацистски-готическим шрифтом, заглавными буквами: «СМЕРТЬ ЖИВА!» Потом она поворачивается, протянув руку и уставив в него указательный палец:

— А теперь запомни. Отныне правила устанавливаю я. Понятно, нет? Если ты когда-нибудь еще... karut! Представление окончено. Это ясно?

— Как солнце вашей родины.

Она смотрит на него не мигая.

— Тогда пошел вон. — Скрестив на груди руки, она указывает головой куда-то вбок. — Пошел. Вон отсюда!

Он приподнимает резиновую подстилку на один-два дюйма:

— Но я же раздет.

— Здорово! Теперь весь распрогребанный мир увидит, что ты на самом деле такое. А еще — надеюсь, ты схватишь смертельную простуду.

Он колеблется, пожимает плечами, делает пару шагов босиком по изношенному ковру цвета увядающей розы, направляясь к двери, но останавливается.

— Может, хоть руки друг другу пожмем?

— Ты что, шутишь? Совсем с ума сбесился?

— Мне и вправду кажется, что приговор вынесен без суда и следствия. Я ведь просто пытался слегка откомментировать...

Она подается вперед:

— Слушай. Каждый раз, как я что-нибудь себе всерьез позволяла, ты принимался издевки строить. Не-ет, я тебя раскусила, дружище. Такой свиньи еще свет не видал. Numero Uno! ²² Она сверкает глазами в сторону двери, и снова ее похожая на изображение черепа голова, увенчанная белыми иглами волос, делает движение вбок. — Вон!

Он совершает еще два шага, двигаясь спиной вперед, словно придворный перед королевой давних времен, поскольку резиновая подстилка недостаточно широка, чтобы обернуть ее вокруг пояса, и опять останавливается.

— Я ведь мог все это сделать много хуже.

— Ах вот как?

— Мог бы изобразить, как вы, слащаво напевая, бродите в оливковых рощах, облаченная в прозрачную ночную сорочку, словно Айседора Дункан в свободное от спектаклей время.

Она упирает руки в бока. Голос звучит, как змеиное шипение:

— Ты что, блин, настолько обнаглел, что предполагаешь...

— Уверен, это имело какой-то смысл. Во время оно.

Она стоит — руки в боки, ноги врозь. Впервые в ее глазах помимо гнева брезжит что-то еще.

— Но теперь-то такое только ржать нас может заставить, нет, что ли? Ты про это?

Он скромно пожимает плечами:

— Это и в самом деле представляется некоторой нелепостью. Раз уж вы сами об этом упомянули.

Она кивает несколько раз. Потом говорит сквозь зубы:

— Ну, валяй дальше.

— Разумеется, ни в коем случае не как чисто литературная концепция. Или как часть иконографии ренессансного гуманизма. Ботичелли и всякое такое.

— И все-таки — хренотень?

— Мне и в голову не пришло бы такое неприличное слово употребить. Мне самому.

— Ну ладно, выкладывай. Какое слово ты сам бы употребил?

— Наивность? Сентиментальность? Легкое сумасшествие? — Он торопливо продолжает: — Я хочу сказать, ну вот Богом клянусь, — вы ведь можете выглядеть потрясающе. Этот черный костюм в облипочку, что был на вас в прошлый раз...

Руки ее резко опускаются вниз, кулаки сжаты. Он менее уверенно продолжает:

— Поразительно!

— Поразительно?

— Совершенно поразительно. Незабываемо.

— Ну да. Мы все знаем, какой у тебя вкус, блин. Только тебе и судить. Особенно когда дело доходит до того, чтобы унижать женщин, превращая нас в одномерные объекты сексуальных притязаний.

— Я полагаю, двухмерные были бы...

— Да заткнись ты! — Она некоторое время рассматривает его, потом отворачивается и берет с кровати гитару. — Думаешь, ты такой, на хрен, умный, да? «Иконография ренессансного гуманизма», Господи Ты Боже мой! Да ты и не знаешь ни фиги! Не представляешь даже, как я на самом деле выглядела, когда только начинала. Да я прошла такие ренессансы, и столько их было, что ты столько хлебцев поджаренных за всю жизнь на завтрак не съел.

— Понимаю.

— Ишь ты какой — понимает он! Ты всю жизнь на это напрашивался. Вот теперь и получай! Ублюдох самодовольный!

Ее правая рука начинает перебирать струны, негромко наигрывая мелодию давних времен, в лидийском стиле²³. Преображение происходит не сразу, образ словно тает, медленно, едва заметно, и все же поражает воображение. Волосы становятся мягче и длиннее, полнятся цветом; безобразный грим исчезает с лица, теряет цвет одежда, да и сама одежда растворяется, меняет форму, превращается в тунику из тяжелого белого шелка. Туника плотно окутывает тело, оставляя обнаженными обе руки и одно плечо, и спускается ниже колен. У талии она перехвачена шафрановым поясом. В тех местах, где шелк натянут, он не совсем непрозрачен. Исчезают сапоги: теперь ее ноги босы. Волосы, ставшие совсем темными, стянуты в узел — в греческом стиле. Лоб опоясывает изящный веночек из нежно-кремовых розовых бутонов вперемежку с листьями мирта, а гитара превратилась в девятиструнную лиру, на которой теперь, когда метаморфоза свершилась, она наигрывает ту же давнюю лидийскую гамму — в обратном порядке.

Лицо будто бы то же самое, но моложе, словно ей удалось сбросить лет пять; на ее коже играет золотисто-медовый теплый отблеск, его выгодно подчеркивает белизна прилегающей к телу туники. Что же касается общего впечатления... лица, посылавшие в плавание тысячи кораблей, — ничто по сравнению с этим. Это лицо могло бы заставить вселенную остановиться в своем вечном движении и оглянуться. Она роняет лиру, позволяя ему глазеть раскрыв рот на это несомненное чудо — божество древнейших времен. Несколько мгновений проходят в молчании, но тут она упирает руку в бок. Кое-что, как видно, остается без изменений.

— Итак... Мистер Грин?

Голос ее тоже успел утратить былые, не вполне безопасные акценты и интонации.

— Я был целиком и полностью не прав. Вы выглядите ошеломляюще. Не от мира сего. — Он пытается найти подходящее слово — или делает вид. — Почти как ребенок. Кажется такой ранимой. Нежной.

— Более женственной?

— Несравненно.
— Легче такую эксплуатировать?
— Я вовсе ничего такого не имел в виду. Правда... просто мечта! Такую девушку хочется пригласить домой — с мамочкой познакомиться. А розовые бутончики — ну восторг!
В ее голосе звучат нотки подозрения:
— Что плохого в моих розовых бутонах?
— Это — гибридная чайная роза «офелия». Боюсь, ее не выращивали до тысяча девятьсот двадцать третьего года.
— Как это типично! Вы просто чертов педант.
— Прошу прощения.
— Между прочим, это моя любимая роза. С двадцать третьего года.
— Моя тоже.
Она поднимает лиру.
— Такую же — или то, что от нее осталось, — можно увидеть в музее «Метрополитан», в Нью-Йорке. Пока вы не начали и на эту тему каламбурить.
— Она выглядит абсолютно как настоящая.
— Она и есть настоящая.
— Ну разумеется.
Она бросает на него неприязненный взгляд:
— И вот что. Пока мы тут рассуждаем, перестаньте разглядывать мою грудь с таким явно недвусмысленным видом.
Он переводит взгляд на ее прелестные босые ноги:
— Прошу прощения.
— Я же не виновата, что бюстгальтеры тогда еще не изобрели.
— Разумеется, нет.
— Эти чудовищные цепи, сковывающие истинную женственность.
— Слушайте, слушайте!
Она смотрит на него в задумчивости:
— Я ничего не имела бы против случайного беглого взгляда. Это еще один из ваших недостатков. Вы никогда ничего не оставляете воображению.
— Постараюсь исправиться.
— Только не здесь. Я все это сделала лишь для того, чтобы показать вам, что вы упустили. Впрочем, вы, видимо, не способны это оценить. — Она отворачивается. — Если хотите знать, все порядочные мужчины падают на колени, когда впервые видят меня. Такой, какая я на самом деле.
— А я и стою на коленях. В душе. Вы выглядите потрясающе.
— Этим вы всего-навсего хотите сказать, что меня хочется трахнуть? Вы забываете, что я вас насквозь вижу. Вместе с вашим жалким мономаниакальным умишком. Я для вас всегда была и останусь просто еще одной цыпочкой — из многих.
— Неправда.
— Конечно, я вовсе не жду, что вы начнете сочинять гимны и оды в мою честь и совершать возлияния, и... — она чуть приподнимает лиру и снова опускает ее на бедро, — и всякое такое. Вот когда мир был еще хоть немножко цивилизованным... Я прекрасно понимаю, что в вашем грубо-материалистическом веке ни от кого нельзя ожидать слишком многого. — Она бросает на него полусердитый, полуобиженный взгляд через обнаженное плечо. — Все, о чем я прошу, — это минимальное признание моего метафизического статуса vis-a-vis²⁴ с вашим.
— Прошу прощения.
— Слишком поздно. — Она устремляет взгляд чуть вверх, будто обращается к гребню далекого горного хребта. — Ваша безобразная выходка была последней каплей. Я могу закрыть глаза на многое, но не допущу, чтобы моя естественно скромная манера вести себя подвергалась

такому бессовестному осмеянию. Все знают — я по природе застенчива и склонна к уединению. Я не допущу, чтобы меня превращали всего лишь в женское тело, лишенное мозгов и готовое по мановению пальца удовлетворять ваши извращенные потребности. И вы забываете, что я не просто что-то такое из книжки. Я в высшей степени реальна. — Она опускает взор долу, разглядывая ковер, и произносит, понизив голос: — И между прочим, я — богиня.

— Но я же этого и не отрицаю!

— Нет, отрицаете! Каждый раз, как раскрываете свой дурацкий рот. — Она опускает лиру на кровать и, избегая его взгляда, скрещивает на груди руки. — Думаю, мне следует предупредить вас, что я всерьез собираюсь поднять этот вопрос на нашем следующем ежеквартальном собрании. Потому что, по сути, оскорбление нанесено не только мне, но всему моему семейству. И, откровенно говоря, нам надоело. Слишком уж много такого случается в последнее время. Давно пора на чьем-нибудь примере всех проучить.

— Я и правда прошу прощения.

Она внимательно смотрит на него и опять отводит глаза.

— Придется вам поискать более убедительное доказательство того, что вы сознаете свою вину. — Она поднимает к глазам кисть левой руки, по рассеянности, видимо, позабыв на миг, что в классические времена часов, как и розы «офелия», не существовало. В раздражении она оглядывается на часы с кукушкой. — У меня сегодня очень напряженный график. Даю вам еще десять предложений, для того чтобы вы могли принести полные, соответствующие нормам официальные извинения. Это ваш последний шанс. Если я сочту извинения приемлемыми, я буду готова отложить решение о занесении вас в черный список. Если нет, вы должны будете понести ответственность за свои поступки. В таком случае я, по всей справедливости, должна буду настоятельно посоветовать вам в течение всей вашей дальнейшей жизни держаться подальше от отдельно стоящих деревьев и от домов без громоотводов. Особенно во время грозы. Это ясно?

— Ясно, но несправедливо.

Она бросает на него прозорливый взгляд:

— Это не только справедливо, но невероятно снисходительно при данных обстоятельствах. А теперь — хватит спорить. — Она поворачивается, чтобы взять лиру, потом слегка расправляет плечи. — Можете начать с того, чтобы опуститься на колени. Мы можем опустить целование следов моих ног — ведь я спешу. В вашем распоряжении десять предложений. Не более, но и не менее. А потом — прочь!

Твердой рукой удерживая импровизированный передник на месте, он довольно неуклюже опускается на колени, попирая ими бледно-розовый ковер.

— Всего лишь десять?

— Вы меня слышали.

Она смотрит в дальний угол палаты; ждет. Он прочищает горло.

— Вы всегда были для меня самой совершенной из женщин.

Она поднимает лиру, щиплет струну:

— Осталось девять. Тошнотворная банальность.

— Несмотря на то что я никогда не мог вас понять.

Она снова щиплет струну:

— Это верно. Можно было бы и повторить.

— До конца.

— Семь.

— Это же не предложение. Там нет сказуемого.

— Семь!

Он вглядывается в строгий профиль:

— Ваши глаза — словно косточки локвы²⁵, амфисские оливки, черные трюфели, мускатный виноград, хиосский инжир... они не отрываются...

— Шесть.

— Я же не закончил!

Она фыркает:

— Нечего было делать из этого целое меню.

— Никто никогда всерьез не занимал мои мысли, кроме вас.

— Врун паршивый. Пять.

— Прекрасно понимаю, почему вы сводите всех мужчин с ума.

— Четыре. И женщин тоже.

Он замолкает, вглядываясь в ее лицо:

— Честно?

Она бросает быстрый взгляд вниз, на него:

— Не пытайтесь меня отвлечь.

— Я и не пытаюсь. Просто интересно.

Она говорит, обращаясь к стене:

— Если хотите знать, та старая горбатая калоша с Лесбоса так и не оправилась после того, как увидела меня раздевающейся перед утренним купанием.

— И это все, что было?

— Конечно, это все, что было.

— А я-то думал...

Она бросает на него нетерпеливый взгляд:

— Послушайте! Один из пятидесяти тысяч фактов, которые вам так и не удалось осознать, — это что я не вчера на свет родилась. — Она отводит глаза. — Конечно, она пыталась... все эти ее лесбийские штучки... Хотела сфотографировать меня в бикини и всякое такое.

— Сфотографировать вас в...?!

Она пожимает плечами, трясет головой:

— Ну, как там это тогда называлось. Скульптуру с меня сделать, или что... Не могу же я мельчайшие детали помнить. Ну же, ради всего святого, давайте кончать. Три предложения у вас еще осталось.

— Четыре.

Она сердито отдувается:

— Ну ладно. Четыре. И лучше бы они были удачнее, чем предыдущие.

— То, как вы появляетесь, как исчезаете...

Она дважды щиплет струны лиры.

— Осталось два.

— Но это же смешно! Там совершенно явственно была запятая!

— По тому, как вы это сказали, не было.

— Просто я сделал паузу. Для риторического эффекта. Эти два понятия тесно связаны. Появление. Исчезновение. Любому ясно. — Она предостерегающе устремляет вниз взгляд. Он медленно произносит: — Вы ведь и на самом деле самое эротичное существо во вселенной, понимаете вы это?

Она смотрит в сторону:

— Теперь определенно два.

— Я тоже умею играть по правилам, как видите.

— Одно.

Она стоит в позе, намекающей, что она обладает неким высшим внутренним знанием, и видом своим не так уж отдаленно напоминает знаменитую мраморную голову с Киклад²⁶, что совершенно непереносимо. Он набирает в легкие побольше воздуха.

— То (запятая) о чем я и вправду подумал (запятая) заключалось в следующем (двоеточие) а нет ли здесь на самом деле (запятая) вопреки вашей явно преувеличенной обиде из-за одного-двух заключений (запятая) которые я был вынужден сделать (запятая) создавая ваш

литературный образ (запятая) за что вам в любом случае следовало бы винить более всего собственную крайнюю неискренность (скобка) если не явную кокетливость (тире) я говорю об этом как человек (запятая) который гораздо чаще (запятая) чем ему хотелось бы помнить (запятая) был выставлен вами на посмешище без малейшего предупреждения о том (запятая) что вы сводите счеты с кем-то другим (скобку закрыть и запятая) касательно неких областей (запятая) заслуживающих тщательного исследования со стороны как описываемой (запятая) так и описателя (запятая) или (запятая) если хотите (запятая) меж персонифицированной *histoire* и персонификатором в виде *discourse*²⁷ (запятая) или (запятая) проще говоря (запятая) вами и мной (точка с запятой) и я почти уверен (запятая) что у нас обоих есть одна общая черта (двоеточие) взаимное непонимание того (запятая) как ваше в высшей степени реальное присутствие в мире литературы могло остаться незамеченным (скобка) хотя вы могли бы счесть такое отсутствие внимания поистине благом (скобку закрыть) штатными университетскими профессорами-штамповщиками (запятая) структуралистами (запятая) деконструктивистами (запятая) семиологами (запятая) марксистами и всеми прочими (точка с запятой) и более того (запятая) я уверен (запятая) что поистине всеобъемлющий семинар *a deux*²⁸ на тему о нас самих займет достаточно времени (запятая) а я испытываю некоторое неудобство из-за необходимости прикрывать интимные части своего тела резиновой подстилкой (запятая) тогда как вы (запятая) напротив (скобка) хотя вы и вправду выглядите совершенно восхитительно и божественно (запятая) положив прелестные пальчики вот так на струны вашей абсолютно настоящей лиры (скобку закрыть и запятая) создаете впечатление (тире) если только это не остатки той отвратительной черной туши вокруг глаз (тире) человека несколько утомленного (запятая) что вполне понятно (запятая) ведь вы так любезно решились проделать такой долгий путь (запятая) или, если хотите, точка с запятой) вот мне и пришло в голову (запятая) что было бы вовсе не плохо (запятая) если бы мы позволили себе немного расслабиться (тире) исключительно (запятая) спешу я добавить (запятая) для пользы дискуссии (запятая) что само собой разумеется (точка с запятой) и я мог бы добавить (запятая) что кровать замечательно удобна (запятая) если вы испытываете желание прилечь на несколько минут (запятая) однако я...

— Это ни к чему не приведет, не надейтесь.

Он улыбается:

— Боюсь, я еще не закончил.

Она смотрит на него молча, потом возмущенно отворачивается и присаживается на край кровати, положив лиру рядом с собой. Скрещивает на груди руки и многозначительно устремляет взгляд на часы с кукушкой.

— (многоточие) Возвращаясь к сказанному (тире) однако я должен заявить (запятая) что следует понять (двоеточие) хотя я могу продолжать в этом духе бесконечно (запятая) пока вам не придется улечься в постель в полном изнеможении (запятая) нам нужно согласиться (запятая) что формальным основанием для дискуссии должно стать ваше признание неопровержимого факта (запятая) что если бы вы несколько ранее обозначили себя в тексте (запятая) против которого вы так бурно возражаете (тире) особенно в этом потрясающем классическом одеянии (запятая) или в хитоне (запятая, тире) нарративное развитие (запятая) которое вам так исключительно не по душе (запятая) почти наверняка вовсе не имело бы места и мы теперь (запятая) соответственно (запятая) не стояли бы на коленях и не сидели бы на кровати в этой идиотской палате (запятая) описать которую толком (запятая) в солидной старой манере (запятая) у меня не хватило терпения (запятая) не говоря уже о стиле *pouveau roman*²⁹ (точка с запятой) но (запятая) учитывая (запятая) что именно так я и должен был начать (запятая) потому что вы действительно всегда были и есть (тире) а я вовсе не (подчеркнуто) женофоб и не шовинист (тире) одна из самых чудовищных динамисток во всей истории нашей планеты (запятая) и я иногда думаю (запятая) насколько облегчилось бы все это дело (запятая) если бы все мы были голубыми (запятая) а если вы будете продолжать в том же духе (запятая) так оно скорее всего и случится (запятая) а тогда где вы сами окажетесь (тире) снова будете бродить в

печали на Богом забытой горе (запятая) воющим голосом выпевая жалкие песни на никому не понятном ионическом³⁰ диалекте (запятая) бренча на этой кошмарной лире (запятая, тире) а пока вы этим будете заниматься (запятая) мне хотелось бы (запятая) чтобы вы все-таки ее поднастроили (запятая) басовые струны фальшивят по меньшей мере на полтона (запятая) и (запятая) чтоб не забыть (запятая) вы всех нас очень обяжете (запятая) если попросите вашу сестрицу Эвтерпу³¹ (запятая) или святую Цецилию³² (запятая) или любого (запятая) кто хоть сколько-нибудь прилично владеет бузукой³³ (запятая) дать вам несколько элементарных советов (запятая) как правильно держать медиатор и...

Он наконец-то зашел слишком уж далеко. Она хватает лиру и вскакивает с кровати, угрожающе потрясая инструментом.

— Если бы перенастраивать эту штуковину стоило не такого труда, я просто нанизала бы ее на вашу дурацкую голову. И не смейте отвечать! Одно только слово — и все будет кончено. Тотчас же!

На миг у него от ужаса замирает сердце, ему кажется, что она осуществит свою угрозу, невзирая на последствия. Но она роняет лиру.

— За все четыре тысячи лет мне не приходилось встречаться с подобным высокомерием. И с таким кощунством! Я не вдохновляю порнографию. И никогда не вдохновляла. А что касается того другого отвратительного слова... все и каждый знают, что самое главное во мне то, что я — наивысшее воплощение девической скромности, и — раз и навсегда — прекратите разглядывать мои соски, наконец! — Он поспешно опускает глаза и принимается разглядывать ковер. Она смотрит на него, потом на свою лиру, потом снова — на него. — Я ужасно, ужасно сердита. — Он кивает. — Бессмертно обижена. Не говоря уже ни о чем другом, вы, кажется, напрочь забыли, чья я дочь. — Он поспешно поднимает глаза и отрицательно мотает головой. Но успокоить ее не удастся. — Я ничего не могу поделать с тем, кто он такой на самом деле. Я лезу из кожи вон, стараюсь вести себя по-человечески, быть как все вы. Не быть снобом, не бегать с жалобами к папочке, как какая-нибудь бедная богатенькая девочка. — Она сердито смотрит на ковер у своих ног. — А вы только и норовите в своих интересах воспользоваться моей порядочностью, моим стремлением не отставать от времени. — Она вот-вот заплачет. — Посмотрела бы я, как бы вы попробовали выглядеть вечно молодым и быть старым, под несколько тысяч лет от роду, и все в одно и то же время!

Насколько позволяет его немота, он пытается выразить ей самое искреннее сочувствие. Она внимательно разглядывает его — тянется долгий миг; затем вдруг отворачивается и снова присаживается на край кровати, держа лиру на коленях; нервно водит пальцем по узору на одном из ее округлых боков.

— Ну хорошо. Возможно, — Бог знает почему, из какого-то ложного чувства ответственности, — я и вдохновила вас, подсказав лишь самую суть представления о чем-то таком вроде совсем нового характера нашей с вами встречи. Но мне виделась лишь интересная вариация — небольшая, в современном духе — темы совершенно классической. Что-то такое для просвещенного читателя. А вовсе не эта непристойная... — Она машет рукой, указывая на изголовье кровати. — Я полагала, вам хватит ума хотя бы просмотреть для начала несколько классических текстов. — Ее пальчик не переставая бродит вверх-вниз по изогнутому лебединой шеей золоченому боку лиры. — Такая несправедливость! Я вовсе не ханжа. И такое унижение! Что, если вся моя злосчастная семейка услышит об этом? — В голосе ее все сильнее звучит обида. — Они и так думают, что все это шуточки. А все потому, что я, когда мы все впервые тянули жребий, подумала: какое везенье, что я вытянула любовную поэзию. А потом завязла во всей художественной литературе вообще. Мне приходится вкалывать в десять раз больше, чем всем им, вместе взятым. — Она погружается в печальные размышления о собственных бедах. — Конечно, в этом жанре теперь Бог знает что творится. Смерть романа — ой не смешите меня! Всем своим знаменитым родственничкам могу такого пожелать от всей души. Насколько легче всем было бы. — Она на миг замолкает. — Вот чего я терпеть не могу в этой

вашей паршивой стране. А в Америке — и того хуже. Одни только французы изо всех сил стараются разделаться с этой тягомотиной раз и навсегда.

Он поднимается с колен. Она все сидит, низко потупив голову, потом отбрасывает лиру. Минуту спустя поднимает руку и снимает со лба венок из розовых бутонов, с недовольным видом тербит его в пальцах.

— Не знаю, с чего мне вздумалось вам все это рассказывать. Вам-то что за забота!

Он осторожно приближается и, помешкав, присаживается на край кровати рядом с ней; между ними — лира. Она бросает на инструмент горький взгляд искоса:

— Конечно, я знаю, что она фальшивит. Я вообще ее терпеть не могу. И кто это пустил слух, что весь мир замолчал, когда это всехнее посмешище, мой двоюродный братец³⁴, давал свои бесконечные концерты? Бог его знает. Динь-динь, бряк-бряк. Все, кого я знала, засыпали от бессмертной скуки во время его концертов. — Она тербит венок, будто это он во всем виноват. — И костюм этот идиотский. Не думайте, я прекрасно вижу — вы только притворяетесь, что он вам нравится.

Темные глаза смотрят на него холодно и искоса — головы она не поворачивает.

— Свинтус. — Она отрывает бутон. — Ненавижу. — Он ждет. — И все равно вы считаете, что у этой черной сестры грудь красивее, чем у меня.

Он отрицательно качает головой.

— Просто удивительно, как это вы и ее не трахнули под конец. Или нас обеих вместе. — Она вытягивает еще один бутон из венка и принимается обрывать лепестки — один за другим. — Если бы этот замысел развить должным образом, все могло быть сделано интересно и со вкусом. Я не предъявляю неразумных претензий. Я не стала бы возражать против некоторых осторожных нюансов, создающих романтический интерес. Я не так уж забывчива и сознаю, что вы — мужчина, а я — женщина.

Он отталкивает лиру подальше и придвигается чуть ближе.

— И не думайте, что это вам хоть как-то поможет.

Он протягивает руку и берет ее ладонь в свою; она пытается выдернуть ладонь, но он не уступает. Их соединенные руки — тюремщик и арестантка лежат между ними на белой простыне. Она бросает на них презрительный взгляд и отворачивается.

— Даже если вы будете молить меня, снова встав на колени. И еще одно. Это все — не для записи.

Он теснее сжимает ее ладонь и придвигается еще чуть ближе; опять сжимает и, чуть погодя, обнимает ее за плечи. Она не реагирует.

— Я прекрасно вижу, что вы намереваетесь делать. Может, я и не самая музыкальная в нашем семействе, но могу различить фуговую инверсию, когда сталкиваюсь с ней лицом к лицу.

Он наклоняется и целует ее обнаженное плечо.

— У меня не осталось к вам ни малейшего чувства любви или привязанности. Я просто слишком устала, чтобы обращать на все это внимание. Этот долбаный перелет был ужасно утомителен. Меня укачало.

Он опять целует ее плечо.

— А вы совершенно не сочувствуете моим чувствам.

Он снимает резиновую подстилку. Она бросает беглый взгляд на его колени и отворачивается.

— Вы порой бываете невыразимо вульгарны.

Он пытается прикрыть ее ладонью свою невыразимую вульгарность, но она вырывается и, скрестив руки на груди, устремляет взор на обитую мягкой тканью стену.

— Нечего думать, что я не заметила эту ухмылочку на вашем лице, когда говорила о своей девической скромности. И все из-за того, что я когда-то пару раз позволила себе расслабиться в вашем присутствии. Полагаю, вы думаете, что это не только непоследовательно, но и глупо. То, что я время от времени совершенно по-человечески позволяю себе поступать вопреки собственному, повсеместно сложившемуся образу.

Он молча изучает ее профиль, потом начинает потихоньку стягивать белую бретельку туники с восхитительно округлого золотистого плеча. Но она резко прижимает локоть к боку, как только появляется угроза, что верх туники вот-вот соскользнет.

— И чтоб вы не подумали, какой вы замечательный соблазнитель, я, пожалуй, напому вам, что вы вовсе не один такой на свете. С меня снимали одежды гении — чуткие и нежные. И я не позволю себе увлечься сочинителем жалких эротических поделок.

Он убирает руку. Воцаряется молчание. Немного погодя, все еще устремив взгляд на стену, она дает бретельке, упавшей с плеча, соскользнуть с локтя.

Молчание все длится. Она не сводит взгляда со стены.

— Я же не говорила, чтобы вы убрали руку.

Он снова обнимает ее за плечи.

— Хотя, конечно, мне абсолютно наплевать. В глубине души.

Он очень бережно начинает играть шелком туники там, где кое-что мешает шелку соскользнуть к ней на колени.

— Вы думаете, я ничего в мужчинах не понимаю. Должна вам сообщить, что мой самый первый любовник... да у него в ногте мизинца на ноге было больше сексуальности, чем у вас во всем вашем занудном теле! Или было бы, если бы у него был на ноге мизинец. Он не стал бы спокойно разглядывать груди Мисс Греции-тысяча девятьсот восемьдесят два! — Помолчав, она добавляет: — Тысяча девятьсот восемьдесят два — до новой эры, разумеется.

Он повыше приподнимает руку, тогда как другая — та, что обнимает ее плечи, сползает к обнаженной теперь талии, и притягивает ее чуть ближе к себе. Наклоняется, пытается поцеловать ее в щеку, но напрасно. Она отворачивается.

— И он не страдал преобразованно-инфантильным комплексом голливоба³⁵. — Он откашливается. — Беру эти слова обратно. Во всяком случае, у него не было типично мужской псевдоинтеллектуальной женофобской уверенности, что траханье чернокожих медсестер свидетельствует о либеральных взглядах.

Молчание. Она наблюдает за действиями его правой руки.

— Пожалуй, надо мне вам о нем рассказать. Просто чтобы поставить вас на место. — Она с минуту продолжает за ним наблюдать. — Ну, это всего лишь произвольная реакция. Такого результата я могу добиться и собственными руками. — Она презрительно фыркает. — И мне довольно часто приходится это делать — ведь все вы, в большинстве своем, невежественны и ничего не умеете. — Рука его останавливается. Она раздраженно вздыхает: — Ох, Боже Ты мой! Да продолжайте же! Раз уж начали! — Он продолжает. — Не понимаю, отчего это мужчины так высоко ценят все это. На самом деле это вовсе не так уж увлекательно, как вы все с таким вожделием воображаете. Это всего лишь биологический механизм выживания. Способствующий выкармливанью. — Минуты две спустя она снова вздыхает и откидывается назад, опираясь на локти. — Честное слово. Вы все равно как лабораторные крысы. Чуть на кнопку нажмешь — и бегут со всех ног. — Она подвигается на кровати, опускаясь чуть ниже, но все еще опирается на локти. — Грызут и кусают. Кусают и грызут. — Молчание. Вдруг она садится и отталкивает его прочь. — Нечего все это делать, пока вы не развязали мой пояс. Все равно это только отвлекающий маневр с вашей стороны. Что вам сейчас и правда необходимо, так это ведро холодной воды. — Она шлепает его по руке. — Прекратите. Это очень хитрый узел. Если хотите в порядке исключения сделать что-нибудь полезное, лучше пойдите и закройте дверь. И раз вы уже встали, выключите по дороге свет.

Он идет к двери и закрывает ее, отгораживаясь от непроницаемой ночной тьмы, что за нею стоит. Она тоже стоит у кровати, повернув к нему обнаженную спину, обе руки — у бока, развязывают шафрановый пояс. Но, не успев сбросить тунику на пол, она оборачивается к нему, глядит через плечо:

— Будьте любезны! Мы и так слишком долго занимались вуаеризмом³⁶ в этой отвратительной палате!

Он нажимает кнопку выключателя у двери. Белый плафон над кроватью гаснет, но другой — над самой дверью, видимо контролируемый снаружи, — по-прежнему светится. Не очень ярко, словно лунный свет в летнюю ночь.

Он извиняющимся жестом разводит ладони.

— Подлец! Вы сами это придумали. — Он поднимает руки, отрицая свою вину. — Нет, сами!

Раньше об этом никаких упоминаний не было. — Тянется долгий миг: она пригвозждает его к месту обвиняющим взглядом, потом поворачивается спиной и перешагивает через соскользнувшую на пол тунику. И вот уже стоит к нему лицом, держа свое одеяние перед собой, словно натурщица викторианских времен.

— На самом-то деле вы ведь опять напрашиваетесь. Единственная удавшаяся вам строка была та, где доктор говорит, что из вас надо сделать чучело и выставить в музей.

В сумеречном свете она ищет, куда бы повесить тунику; потом огибает изножье кровати и направляется в дальний угол, к часам с кукушкой. Там она вешает тунику на выступающую из-под угла крышки голову серны. Не глядя на него, возвращается к кровати, взбивает подушки и садится посередине, скрестив на груди руки. Он делает движение, пытаясь сесть рядом.

— Вот уж нет. Можете взять себе стул, на него и сядете. — Указывает на ковер футах в десяти от кровати. — И попробуйте раз в жизни послушать, что вам другие говорят.

Он приносит стул и садится, где указано, скрестив, как и она, руки на груди. Дева с греческой прической, сидящая на кровати, разглядывает его с неприкрытым подозрением и неприязнью; потом роняет взгляд на нижнюю часть его тела и сразу же с презрением переводит глаза на светящийся над дверью плафон. В воцарившейся тишине он не сводит глаз с ее обнаженного тела. Открывшееся во всей своей прелести, это тело не позволяет от себя оторваться — в любом смысле этого слова. Каким-то странным образом оно, в одно и то же время, выглядит и девственно-скромным и зовущим, классическим и современным, уникальным и подобным Еве, добрым и безжалостным, существующим в настоящем и в прошлом, реальным и пригрезившимся, нежным...

Она бросает на него яростный взгляд.

— Ради всего святого, перестаньте смотреть на меня точно пес, ожидающий, когда же ему бросят кость! — Он опускает глаза. — В отличие от вас, я привыкла думать, прежде чем приняться за рассказ. — Он наклоняет голову, выражая согласие. — Лучше отнеситесь к этому как к консультации с научным руководителем. И не только по поводу сексуального высокомерия. А о том, как просто и быстро подойти к делу, без того чтобы бесконечно ходить вокруг да около. Как некоторые мои знакомые.

Снова наступает молчание, потом она начинает рассказ:

— Если хотите знать, это случилось у меня на родине. Мне было всего шестнадцать. Было такое местечко, вроде альпийского луга, обрамленного густым подростом, куда я любила ходить одна позагорать. Моя любимая тетушка — по правде говоря, я была для нее больше дочерью, чем племянницей, — всегда придерживалась нудистских принципов. Она первая научила меня не стыдиться собственного тела. Некоторые говорят, я на нее похожа. Она еще увлекается морскими купаньями — и летом, и зимой. Но это для вас никакого значения не имеет.

Она размыкает руки и закидывает их за голову, по-прежнему глядя на огонек над дверью.

— Ну да ладно. Так вот, я была на этом своем лугу. Парочка соловьев заливалась в соседних кустах. Луговые цветы, жужжащие пчелы — все, что полагается. Солнце играло на моей спине. Мне ведь было всего пятнадцать. Тут я подумала, что могу обгореть. Встала на коленки, принялась смазывать кожу оливковым маслом — я его с собой принесла. Даже не представляю, с чего бы вдруг, только, растирая масло по всему телу, вместо того чтобы размышлять о нудистских принципах, я стала думать о молодом пастухе. Я раза два встретила его — совершенно случайно. Звали его Мопс³⁷. Правда, чисто случайно, во время моих одиноких прогулок. В жаркое время дня он обычно прохлаждался под одним и тем же деревом —

раскидистым буком. Играл на свирели, и если вы полагаете, что моя лютня расстроена... ну да ладно, все равно. За месяц до того, как моя мать... Вы знаете про моих родителей?

Он кивает.

— У нее была аллергия на пастухов. После развода.

Он снова кивает.

— Ну, вам все равно не понять, вы же мужчина. Я хочу сказать — двойня, и то уже достаточно трудно. А девятёрня?! И все — дочери! Должен же был быть какой-то предел — даже в те времена. — Она смотрит на него, как бы ожидая возражений, но на лице его светится абсолютное понимание. — Все мое детство прошло под этим знаком. Постоянные скандалы из-за алиментов. Я не во всем виню папочку. Мать сменила больше адвокатов, чем примеряла платьев на распродаже. Да к тому же она немало заработала на нас девятёрных, когда мы подросли. Стоит только о выездном паноптикуме вспомнить! Мы и дома-то почти не бывали, все в пути да в пути. Хуже, чем «Роллинг Стоунз»! Как перекасти-поле. И менеджер у нас был отвратительный, наш так называемый музыкальный дядюшка, абсолютно голубой... конечно, мама потому его и выбрала: к женщинам его влекло, как кинозвезду к неизвестности. Мы с Талией³⁸ прозвали его «Тетушка Полли». Талия — единственная из моих сестер, обладающая чувством юмора. Он обычно брэнчал на своей малышке кифаре, а мы должны были скакать под эту музыку, каждая в своем костюме, стараясь выглядеть ужасно душевными и умными, и всякое такое. Ну, я хочу сказать, в этом и состояло представление. Вы за всю свою жизнь ничего более жалкого и видеть не могли.

Он высоко поднимает брови, выражая признательность за столь глубокое проникновение в древнегреческие верования.

— На самом-то деле его звали Аполлон Мусагет³⁹. Это его сценическое имя.

Рот слушателя раскрывается от удивления.

— Потому я так и разозлилась, когда вы заговорили о пении в оливковых рощах. Куда там! Мы едва менструировать начали, как нас вытолкнули на первые гастроли. Пиндус, Геликон, да еще каждая несчастная горка между ними. Чесслово, к четырнадцати годам я как свои пять пальцев знала раздевалку в любом из храмов Греции. Нас рекламировали как Прославленных Муз. А на самом деле мы были всего лишь Дельфийскими Танцовщицами. В большинстве случаев это было так же интересно, как в Брэдфорде⁴⁰ выступить в дождливый воскресный вечер.

Он делает соответствующий жест, моля о прощении.

— Свинтус. Ну в общем, мама месяц назад перевела этого пастуха куда-то с нашей горы. Две из моих сестер пожаловались, что видели, как он что-то такое делал... мне не сказали, что именно. Очевидно, он как-то нехорошо поступил с одной из овечек. Да, именно так оно и было. И его прогнали. Не могу вообразить, с чего это он мне вспомнился как раз в тот день.

Она слегка откидывается на спину, поднимает колени; потом вытягивает одну ногу вверх, поворачивая ступню то в одну сторону, то в другую, с минуту рассматривает собственную стройную щиколотку, прежде чем положить ногу рядом с ее напарницей.

— Ну, если по правде... там было кое-что... наверное, лучше будет вам рассказать. Опять-таки совершенно случайно, как раз перед тем, как его выперли, я пошла на свою одинокую прогулку, и мне случилось пройти мимо этого его бука. День был ужасно жаркий. Меня удивило, что пастуха под деревом не видно, хотя все его вонючие овцы были там. Потом вспомнила — Олимп его знает почему, — что недалеко от этого места есть источник. Ручеек выбегает из небольшой пещеры и образует озерцо. Вообще-то, это озерцо было наше, оно как бы служило и ванной и биде для моих сестер — и для меня в том числе, но это к делу не относится. Все равно делать-то мне было нечего, все происходило в те дивные времена, когда алфавит и письмо не были еще изобретены: о Зевс Всемиловитый, если бы мы только знали! Мы должны были бы так радоваться! — Она бросает на него мрачный взгляд. — Словом, я пошла к озеру. Он купался. Естественно, я не хотела нарушить его уединение, так что взяла и спряталась за кустами. — Она бросает взгляд на мужчину, сидящего на стуле: — Я вам не наскучила?

Он отрицательно качает головой.

— Точно?

Он кивает.

— Мне было всего четырнадцать лет.

Он опять кивает. Она поворачивается на бок, лицом к нему, слегка подтянув к животу колени. Ее правая рука разглаживает простыню.

— Он вышел из Источника Пиерид⁴¹ — это Тетушка Полли так претенциозно назвал наше озеро — и уселся на скале у берега — обсохнуть. И тут... ну конечно, он ведь был простой деревенский паренек. Ну, короче говоря, он стал... ну, играть на совсем другой свирели. Или — на трубе, мы с сестрами так эту штуку называли. Он, видимо, считал, что никого кругом нет. Откровенно говоря, я была совершенно шокирована. Отвратительно! Не в том дело, что мне не приходилось раньше видеть обнаженных мужчин, приходилось конечно. У тети, на Кипре. — Она поднимает на него глаза. — Я говорила вам, что она живет на Кипре?

Он качает головой. Она снова принимается разглаживать простыню.

— Ну ладно. Между прочим, я раньше всегда считала, что эти их висячие жалкие штучки выглядят довольно нелепо. И волосы вокруг — как шерсть, такие противные. Меня всегда поражало: бороду-то они ведь каждый день бреют, а там? Почему они не замечают, что моя тетя, и ее подруги, и я тоже — все мы гораздо красивее выглядим? — Она снова поднимает на него глаза: — Надеюсь, вы-то заметили?

Он улыбается и кивает.

— Она терпеть не может ничего такого, что портит естественную линию. Из чисто эстетических соображений.

Он разводит руками.

— Полагаю, вы считаете, что это тоже одно из моих извращенных понятий.

Он отрицает это, но одновременно едва заметно пожимает плечами, будто тайное сомнение уступает его желанию из вежливости не затевать спора. Она разглядывает его вежливо улыбающееся лицо, затем приподнимается на локте.

— Речь идет о скульптурности. У моей тетушки полно самых разных друзей — замечательных служителей искусства. И все согласны с этим. — Он разводит руками. — И суть не только в визуальной стороне дела. Пластика тоже имеет огромное значение. — Он кивает. Она изучает выражение его лица. — Вы все-таки считаете, что это извращенность, да? Правда? — Он улыбается ей слегка смущенно и опускает глаза. Она следит за ним еще минуты две, чуть нахмурив брови, потом рывком поднимается и стоит на коленях посреди кровати, совершенно прямо, повернувшись к нему лицом, колени плотно сжаты. — Послушайте. Я вас нисколько не простила, и пусть вам ничего такого в голову не приходит, но, поскольку это консультация научного руководителя, а вы, кажется, не понимаете, о чем идет речь, я даю вам разрешение однократно и быстро оценить... этот последний аспект. — Руки ее опускаются и проводят две симметричные линии. — Между прочим, это названо в честь моей тетушки. Ямочки Афродиты. — Она поднимает на него глаза. — Так ее звали.

Он кивает. Теперь, заложив руки за спину, она пристально смотрит на стену позади него, словно школьница, ожидающая награды. Он встает со стула, подходит к кровати и садится на краешек, у самых нагих колен; проводит кончиками пальцев вдоль «пластического аспекта».

— Я это делаю специальным эпилятором. Травяным. От одного человечка. Из Ктимы. Это совсем недалеко от тетушкиного дома.

Тишина. Вдруг она вынимает обе руки из-за спины и резко отталкивает его прочь:

— Я просила вас оценить лишь внешнюю форму! С чисто художественных позиций! Вы хуже ребенка! С вами совершенно невозможно вести серьезный разговор. — Она поворачивается и садится в прежней позе, откинувшись на подушки и скрестив руки на груди. — Свинтус. — Она дрыгает левой ногой в сторону. — Да сидите вы, где сидели! Если вам так необходимо. Только руки попридержите. — Он остается сидеть на краю кровати; наклоняется; выпрямляется; вглядывается в ее темные глаза. — Извращенец!

Он чуть придвигается к ней по краю кровати.

— Вам только палец дай.

Он садится так, что рука, на которую он опирается, оказывается закинутой за ее талию. Она крепко берет его пальцами за эту руку, удерживая его на достигнутом расстоянии.

— То, что на мне нет никакой одежды, вовсе не означает, что вы можете вести себя как неандерталец. Аналогия, которую я пыталась вам предложить, — нечто вроде классического симпозиума. Вы только что выдумали совершенно несуществующий светильник. Почему же, интересно мне знать, вы не можете создать вторую кровать или, скажем, аттическое ложе? Этого я понять просто не могу.

Он улыбается. Она вскипает:

— Я знаю мужчин, которые отдали бы правую руку, только бы услышать эту очень личную главу из моей автобиографии. И с чего это я выбрала именно вас... Я уже почти совсем приняла решение замолчать. — Он выжидает. — И замолчала бы, если б не знала, что вы будете ходить и всем рассказывать, что я струсил, когда дело дошло до дела. Такого удовольствия я вам не доставлю! — Она смотрит куда-то мимо него. — Все равно вам от меня не отделаться — придется выслушать.

Она теснее скрещивает на груди руки; затем, избегая встречаться с ним глазами, продолжает:

— Теперь-то я знаю, что моя визуальная инициация была проведена необычайно хорошо оснаренным юным представителем мужского пола. Каким-то странным образом я вдруг ощутила, что мое отвращение сменяется чувством жалости к этому существу. Пожалуй, он был немного похож на вас. Такой же бьющий в нос нарциссизм, так что применить к нему обычные стандарты было бы просто невозможно. Это всегда было моей слабостью. Я слишком добросердечна, психологические уроды вызывают мое сочувствие. Ну да ладно. В конце концов мне захотелось подойти к нему и попросить, чтобы он бережнее к себе относился. Казалось, он так странно, так жестоко с собой обращается. Я решила, он на эту свою штуку рассердился или еще что. Разумеется, я ничего подобного не сделала, постеснялась. Мне ведь было всего тринадцать. Я потихоньку ушла оттуда, пыталась притвориться, что этого никогда не было. Но я всегда отличалась довольно живым воображением. Хорошо запоминала образы. — Она прерывает себя. — Да вы не слушаете!

Он поднимает глаза и кивает.

— Если вы полагаете, это дает мне возможность, хотя бы в малой степени... Ну не знаю. Я умываю руки! — Она приподнимает правое колено. — Думаю, дети... Ладно, можете продолжать. Перерыв тридцать секунд. — Она закидывает руки за шею и умиротворенно опускает голову на верхнюю подушку; некоторое время она созерцает потолок, потом закрывает глаза. К концу тридцатисекундного перерыва, воспользовавшись тем, что глаза ее закрыты, он целует все это прелестное греческое тело, от колен к шее, по красоте своей соперничающей лишь с шеей Нефертити; однако, когда он склоняется к ее губам, руки ее упираются ему в плечи и отталкивают его прочь.

— Нет!

Он по-прежнему склоняется над ней. Она глубже утопает в подушках, словно пытается избежать его прикосновений, и мрачно вглядывается в его лицо.

— Вам не удастся меня остановить. Я все равно закончу. Так что и не пытайтесь.

Он согласно кивает.

— Если каким-то чудом вам посчастливится увести свои мысли с того единственного пути, которым они только и способны следовать спокон веку, может, вы припомните, что все это началось на моем лугу. — Он кивает. — Если уж быть вполне откровенной, закончив умащивать тело маслом, я улеглась на живот — совершенно невинно, словно школьница. — Она вглядывается в его глаза. — Ах, если бы вы могли нарисовать себе эту картину! Как беззащитна я была, как всему открыта! — Он чуть отводит глаза, нахмурясь. — О Господи, да вы просто невозможны! Вы — как весь ваш век! Слова для вас все равно что серая каша-размазня. Ничего

реально не можете себе представить, пока на телеэкране не увидите! — Жертва судьбы и истории, он лишь пожимает плечами. Она колеблется, выпускает вздох и переворачивается на живот; лежит щекой на подушке. — Ну, может быть, теперь вы сумеете получить смутное представление об этой сцене. И между прочим, это еще не все. Получилось ужасно неудачно: небольшая травянистая кочка просто впивалась в меня, и я попыталась примять ее движениями бедер. Теперь-то я понимаю, что мое поведение могло быть истолковано совершенно превратно.

Тишину в комнате нарушает лишь новый нетерпеливый вздох рассказчицы. Она продолжает:

— Они такие коварные животные! Он, должно быть, подкрался сквозь подлесок. И хуже того, они ведь обладают телепатическими способностями, умеют мысли читать. Это как-то связано с их звериной половиной. Так что он не только видел, что я там делаю, он прекрасно знал, о чем я думаю. И тут, в самый... неловкий момент, когда я как раз представляла себе, что делает со мной тот юный пастух... я слишком скромна, чтобы описать что именно... и я ни за что и никогда не допустила бы, чтобы он сделал это со мной в действительности... я вдруг почувствовала, как мохнатое тело нарушителя моего уединения и... и что-то еще легло на мою невинную, умащенную оливковым маслом попку. Мне ведь было всего двенадцать лет! — Молчание. — Ой, ну чесслово! Почему вам надо всегда воспринимать все так буквально! — Он целует ее шею у самого затылка. — Я хотела закричать, сопротивляться. Но поняла — все будет напрасно. Вопрос стоял так: либо уступить, либо расстаться с жизнью. Вообще-то, он вовсе не был жесток. Он укусил мне шею, но лишь играючи. Потом принялся нашептывать всякие вещи. Совершенно ужасные, но я заставила себя слушать. О других женщинах, о девушках, даже — я была просто поражена — об одной из моих сестер, о старшей — той самой, что подняла такой скандал из-за того юного пастуха. Она оказалась невероятной лицемеркой. Если бы только историки... Впрочем, не важно. — Она на миг замолкает. — Между прочим, через некоторое время он показался вовсе не таким противным, как я ожидала. У него замечательная смуглая кожа, а та часть тела, что покрыта шерстью, оказалась гораздо приятнее, чем можно было себе представить. Шерсть вовсе не грубая. Как мохер. Или ангора. — Она делает короткую паузу. — И он меня вовсе не пытался расплющить в лепешку. — Ее слушатель чуть приподнимается. Она с усилием вывертывает шею, чтобы посмотреть назад и вверх, и недоверчиво глядит на него уголком глаза. — И он не сделал ничего такого, что сейчас заполняет ваше гиперактивное воображение. На самом-то деле ему хватило порядочности меня перевернуть. — Несколько мгновений спустя она продолжает, теперь уже глядя ему прямо в глаза: — К этому моменту я была уже не в силах сопротивляться. Стала как воск в его руках. Могла только смотреть в его похотливые, развратные глаза. Можете себе представить?

Он улыбается, глядя в ее темные глаза, и кивает.

— Вовсе не смешно.

Он отрицательно качает головой.

— Он заставил меня раздвинуть ноги... я все-таки сопротивлялась... немножко, но он был очень сильный и очень возбужден. — Она закрывает глаза. — Я до сих пор это чувствую. — Она снова умолкает. Потом поднимает веки и пристально смотрит — глаза в глаза. Ее ноги перекрещиваются, замыкая его в кольцо. — Это было отвратительно: чистейшее биологическое доминирование! Мой нежный, наивный ум не мог с этим примириться. Мне ведь едва исполнилось одиннадцать! Мне было ненавистно это зверское, отвратительное насилие. С первого до последнего момента. Я решила, что никогда его не прощу. И всех особей его пола. Что с этого момента и навсегда, на всю мою жизнь, я объявляю войну, войну до победного конца, всему, что относится к мужскому полу. Буду изводить и мучить любого мужчину, кто попадется мне на пути. Я даже могу позволить им думать, что их ласки доставляют мне наслаждение, что мне приятны их поцелуи, их ласкающие руки. Но в глубине души, даже после дефлорации, я всегда оставалась девственницей — девственницей навеки. — Она одаряет его серьезным, даже торжественным взглядом. — Пусть ни одна душа никогда ни за что не узнает об этом. Я запрещаю вам кому-нибудь об этом говорить.

Он мотает головой: никогда.

— Один раз я уже кое-кому про это рассказала. Как последняя идиотка.

Он всем своим видом демонстрирует удивление.

— И конечно, он растрепал об этом на весь мир, при первой же возможности. И с типично женофобских позиций. А ведь это с полной очевидностью был лично мой сюжет. Я могу быть всем, чем угодно, но никак уж не парой дурочек-нимф в придумке какого-то поэта-лягушатника⁴². Да еще в день отдыха. — Она прерывает себя: — И пожалуйста, пусть присутствующие возьмут это себе на заметку. А если вы интересуетесь, почему он сделал двоих из меня одной, могу вам сообщить, что он был пьян вдребезину. Как всегда. Его звали Верлен.

Он энергично трясет головой.

— Или как-то еще. Один из этих⁴³.

Он пытается губами изобразить правильное имя⁴⁴. Она внимательно за ним наблюдает.

— У вас руки болят?⁴⁵ Ну, надо было хорошенько подумать, прежде чем разрешить вашей смехотворной докторице использовать ту позу. Вы такой же, как все порнографы. Как только речь заходит об удовольствиях его сиятельства, реальность выбрасывается в окно. — Она пристально смотрит на его губы, потом снова вглядывается ему в глаза. — Ну, честное слово, я начинаю думать, что, когда вы молчите, вы еще отвратительней, чем когда разговариваете. Теперь уже можете говорить. Если уж вы так настаиваете на этом. — Однако, прежде чем он успевает раскрыть рот, она продолжает: — И только в том случае, если вы не считаете, что плотский аспект нашей беседы хоть как-то влияет на мое истинное мнение о вас. Или на мое метафорическое отвращение ко всему тому, что отстаиваете вы и все особи вашего пола, вместе взятые. И не думайте, что я не разглядела кричаще явных маневров, какие вы предпринимали, чтобы заставить меня оказаться в этом положении. — Кольцо ее ног сжимается несколько плотнее, и она спускается чуть ниже. — Все это никакого удовольствия мне не доставляет. Думаю, и вам тоже. Уверена, вы предпочли бы скорее устроить тягуче-нудную дискуссию о параметрах современных нарративных структур.

— Сжался же наконец! Руки меня и в самом деле скоро совсем доканают!

— Можете опуститься на локти. Не более того.

Он опускается, и лицо его оказывается прямо над ее лицом.

— Очень хочется тебя поцеловать.

— Ну, с этим можно и подождать. Я еще не закончила историю о том, что случилось на той горе. Только я забыла, на чем остановилась.

— На дефлорации. Осуществленной фавном после полудня.

— Они совсем не такие, как обыкновенные мужчины. Они тетрорхидны⁴⁶, если хотите знать.

И могут повторять это снова и снова. Так он и делал.

— И всегда одинаково?

— Конечно нет! Мы прошли весь алфавит от начала и до конца.

— Но ты же только что сказала, что алфавит еще не был...

— Ну, если бы уже был изобретен.

— Двадцать шесть раз?!

— Очнитесь! Мы же в Греции.

— Двадцать четыре?

— Плюс еще несколько дифтонгов.

— Ну, этих я как-то не усматриваю. В данном контексте.

— Куда вам! Дело вот в чем. При всем моем возмущении, гневе и всем прочем, я должна была признать, что он великолепный любовник. С великолепным воображением. Фактически полная противоположность вам.

— Это несправедливо!

— Как вы можете судить? Каждый раз я думала — ну это последний. И каждый раз он умел как-то по-новому возбудить во мне желание. Он заставил меня желать стать похожей на него.

Как дикое животное. Это длилось часами... часами и часами. Я совершенно утратила чувство времени. Где-то, начиная от сигмы⁴⁷, я уже практически ничего не могла, так устала. Но не возражала. Даже была бы счастлива снова начать все с альфы. С ним.

Она умолкает.

— И это все?

— Вы и не слушали вовсе.

— Слушал.

— Вы бы не спросили: «И это все?» — таким явно насмешливым тоном, если бы слушали.

Вы бы прощения просили за то, что хоть когда-нибудь осмелились предположить, что ваше собственное ничтожное воображение может идти хоть в какое-то сравнение с таким событием реальной жизни, как это.

Он проводит пальцем по абрису ее губ.

— Ну и феноменальной же девственницей ты, видно, была в свои одиннадцать лет!

— Ну, я же не все свое оливковое масло истратила. Если это вас так интересует.

Он щелкает ее по носу:

— А это уже прямой плагиат из «Carmina Priapea»⁴⁸.

— Мой собственный уникальный и потрясающе чувственный опыт, если хотите знать, предвосхищает этот затхлый сборник непристойностей по меньшей мере на два тысячелетия.

— Могу вполне поверить тому, что ты лежала на животе.

Она молчит; и чем больше он улыбается, тем больше она не улыбается, если можно так выразиться.

— Вы что, хотите сказать, что все остальное я выдумала?

Он снова насмешливо щелкает ее по носу:

— Ты, как и я, прекрасно знаешь, что сатиры — чистейший миф.

На миг она чуть прищуривает глаза, их и без того темные радужки становятся будто бы еще темнее.

— Ах вот как?

Он все еще улыбается.

— Вот так.

— Вы делаете мне больно. Грудь...

Со вздохом он снова приподнимается над ее телом. Чувствует, как размыкается кольцо ее ног у него за спиной. Она скрещивает на груди руки и пристально на него смотрит. С ней происходит резкая перемена от одного настроения к другому: словно туча надвинулась на солнце. А он все улыбается.

— Обожаю, когда ты притворяешься сердитой.

— Но я и правда сердита.

— Да ладно тебе. Уж и пошутить нельзя.

— Вы хотите сказать, что не верите ни одному слову из того, что я рассказала? Вы это хотите сказать?

— По-моему, мы уже наговорились.

— Я жду ответа.

— Да ладно тебе.

— Мне очень хотелось бы, чтобы вы перестали использовать это дурацкое клише. — На лице ее не видно и следа иронии. — Вы верите или не верите тому, что я только что вам рассказала?

— Аллегорически.

Она мерит его ледяным взглядом:

— Вам нужно, чтобы отныне все было именно так, да?

Он больше не улыбается.

— Не имею ни малейшего представления, о чем ты толкуешь.

— Вам нужна ничем не приукрашенная правда, да?

— Ну, ты же прекрасно знаешь, почему тебе досталась художественная литература. Никакого отношения к невезенью, к вытянутой тобой короткой соломинке это не имеет. Просто ты всегда умела лгать в десятки раз искуснее, чем все твои сестры, вместе взятые.

— Какие еще сестры? Нет у меня никаких сестер.

— О, конечно! И тебя не зовут Эрато, и ты...

— Нет, меня не зовут Эрато! И вы абсолютно правы. Действительно, сатиры — чистейшей воды миф. Действительно, этой гротескной сцены никогда не было. Тем более что в ней были заняты не одно, а два совершенно мифических существа.

Он пристально смотрит вниз — на ее лицо.

Она отвечает ему полным ярости взглядом.

— Интересно, что все это должно означать?

— Просто я не позволю всякому эталонно-отвратительному женофобу взять меня на пушку — вот что это должно означать. А еще я скажу вам, что такое современный сатир. Это тот, кто изображает женщину на бумаге, чтобы заставить ее говорить и делать такое, чего ни одна реальная женщина в здравом уме и твердой памяти в жизни не скажет и не сделает.

— Не понимаю, что ты пытаешься...

— Я из кожи вон лезу, чтобы вести себя, как вам этого хочется. Насколько мне это удастся без чувства физического отвращения. И вот все, что я в конце концов получаю в виде благодарности: одни насмешки!

— Эрато!

— Да не смей ты меня! Какая я тебе Эрато! Ее и на свете-то никогда не было. И даже если бы она существовала, ты что, думаешь, она приблизилась бы хоть на десять световых лет к этой отвратительной палате, не говоря уж о том, чтобы раздеться и позволить тебе... Ну, честное слово! Ты когда-нибудь повзрослеешь?!

— Тогда кто же ты, по-твоему, черт возьми?

— Откуда мне знать? Просто еще одна из жалких фантастических фигурок, какие твой больной ум создает из ничего. — Она отворачивает лицо, смотрит в сторону. — О Господи, у меня одно лишь желание — чтобы ты поскорей уже трахнул меня и дело с концом! А потом бросил в очередной костер.

Он смотрит на повернутое в профиль лицо на подушке:

— Фантастическим фигуркам не дозволено иметь желаний. Так что могу тянуть с этим столько времени, сколько мне заблагорассудится. Пardon — поправка. Заколебанного времени.

— Я-то думала, такие, как ты, вымерли вместе с Оттоманской империей.

— А могу еще дольше. Поскольку ты ведь не настоящая.

Она снова сердито смотрит ему в лицо:

— Я кажусь реальной только из-за твоего тошнотворного представления, что по-настоящему совершенно нереальный персонаж, воплощением которого я, как предполагается, являюсь, должен таким казаться. На самом же деле реальная я в этой ситуации избегала бы вообще всякого упоминания об этом деле, и прежде всего потому, что ни за что не оказалась бы в подобной ситуации. Если бы имела возможность выбора. А у нее такой возможности нет. Поскольку она нереальна, — Она приподнимается с подушки и с упреком качает головой. — Просто ты занимаешься тем же, чем и всегда: думаешь, что ловишь ускользающую тему, а на деле — гоняешься за собственным хвостом.

— Ах как смешно! А откуда тебе известно, чем я всегда занимаюсь?

— А я и не знаю.

— Но ты ведь только что...

Она отворачивает лицо.

— Я всего лишь как попугай повторяю слова, которые ты мне подсказываешь. Они — твои. Вовсе не мои.

— Ни хрена себе. — Она по-прежнему полна отвращения и не поворачивает головы. — Ты — всего лишь мои собственные слова? Всего лишь воск в моих руках?

— Я бы сказала — дешевый пластилин. Это больше подходит.

Он на миг задерживает дыхание.

— Что же, ни шепота сердца, ни малейшего признака собственной воли?

— Да я бы ушла из этой комнаты сто лет назад, будь моя воля.

— И я мог бы делать с тобой что в голову придет и ты бы так и лежала тут?

— Вот уж нет. — Она презрительно фыркает. — Я же знаю, какой смрадный гарем живет в твоём воображении! Я бы извивалась и дразнилась и подстрекала бы тебя по-всячески.

Он ловит ее на слове:

— Откуда это ты знаешь, какое у меня воображение?

— «Знать» в данных обстоятельствах — просто эпистемологическая бессмыслица.

— Не важно. Ты же это слово употребила.

— Оттого что твоё воображение так грубо повторяет себя, достаточно оказаться его жертвой всего на нескольких страницах, чтобы догадаться, как оно всегда работает.

— И ради всего святого, объясни — как это гарем может быть смрадным?

— А ты попробуй поживи в нём. Вместо того чтобы им владеть.

Он пристально смотрит вниз — ей в глаза:

— Я ни одного из этих слов тебе в уста не вкладывал.

— Да я скорее бы умерла, чем попала в твой диалог. По собственной воле. Если бы она у меня была.

— Если хочешь знать, ты говоришь исключительно так, как тебе самой хочется. То есть как испорченная сучонка, которая так же прямодушна, как поворот под прямым углом, и невинна, как стриптизерка в дешевом ночном клубе.

— Благодарю вас.

— Меня не так легко одурачить. Такие вот ситуации тебе особенно по душе. Появляешься, а потом капризничаешь и сопротивляешься — с самого первого слова и до конца. И более того, сама прекрасно это сознаешь. Разве не так?

— Как скажешь. То есть если ты скажешь, что «как скажешь» и есть то, что ты хочешь, чтобы я сказала. А так оно, очевидно, и есть.

— Я требую настоящего ответа.

— Наконец-то он заговорил по-настоящему.

— Я полагаю, что имею право на настоящий ответ.

— Тогда тебе лучше его по-настоящему придумать.

— Но это же не ответ.

Она пожимает плечами:

— Попробуй еще раз. Ты же хозяин. Мастер слова.

Он сердито вглядывается в ее отвернувшееся лицо. Молчание. Потом он говорит:

— Я все-таки тебя поймал.

— Как это?

— Велев тебе что-то сделать. А ты не сделала.

— Я же мысли не читаю. Я просто твоя надувная кукла.

— Прекрасно. Я хочу, чтобы моя надувная кукла сказала, что она меня любит. Страстно. Сейчас же.

— Я люблю тебя. Страстно...

— Не так. С чувством. *Con amore*⁴⁹.

— Не думаю, что сумею.

— Так-так-так!

Она смотрит на него презрительно:

— Не моя вина, что я к тому же еще и запрограммирована рабски подчиняться любому дурацкому настроению, какое тебе заблагорассудится придумать. Какой бы неуклюжий набор

женских эмоций ты для меня ни состряпал. Не говоря уж о твоём собственном персонаже. Я замечаю, что тут нет ни единого слова о его весьма сомнительном статусе. Интересно, кто дергает его за ниточки?

— Я сам. Я — это и есть я. Не смей меня.

Она одаряет его саркастической усмешкой и отводит глаза.

— О Господи, до чего же ты наивен!

— Это ты наивна. Я ни за что не мог бы приказать моему собственному персонажу хотя бы намекнуть, что я — это на самом деле не я.

— А тогда почему он повсюду обозначается как «он»? Что это ты пытаешься скрыть?

Он на минуту умолкает.

— Слушай-ка, я эту абсолютную дичь даже и обсуждать не собираюсь. Ведь на самом деле ты просто пытаешься уйти от объяснений, почему ты не хочешь выполнить мою просьбу.

— Ну, я, может, и сумела бы симулировать это чисто физически. Впиваться в тебя ногтями и стонать. Это подойдет?

— Нет, не подойдет.

— Тогда я предлагаю, чтобы этим занялся твой персонаж. Заставь его сказать мне, что он меня страстно любит. — Она опять отворачивает от него лицо. — Я жду.

— А я знаю, что тебя грызет. Ты просто классическая зануда — всегда все удовольствие испортишь. Как только начнешь испытывать наслаждение от чего-то, сразу же чувствуешь себя виноватой. И ускользаешь — скрываешься за этой дерьмовой болтовней о реальном и нереальном.

— На твоём месте я бы не решилась заводить этот разговор.

— Что ты имеешь в виду?

— Боже мой, только подумать — в этот день, в этом веке... такая жалость! Весь мир полон вполне приемлемых ситуаций типа «мужчина-женщина», литературно-художественное исследование каковых представляет собой параллель жизненной социологической функции, а ты не можешь придумать ничего получше. Музы... Ну, я хочу сказать... Господи! Это же так все запутывает! Даже смущает. Неужели хоть одна современная женщина существующая в действительности — стала бы разговаривать в таком отвратительно взбалмошном и жеманном стиле о пастухах, свирелях и...

— Ну знаешь ли, женщины, толкующие о литературно-художественных исследованиях, каковые представляют собой параллель жизненной социологической функции, несколько не лучше.

— О, я прекрасно понимаю, что с нашей стороны это никуда не годится. Показывать, что мы на самом деле умеем мыслить. Что же еще ты мог бы сказать?

— Ты жестоко и совершенно садистски нарушаешь все и всяческие правила.

Она поворачивает к нему вспыхнувшее лицо:

— Твои правила!

— Хорошо. Мои правила.

Она опять отворачивается.

— Они мне до смерти надоели. Надо притворяться, что я существую в таком виде, в котором ни за что бы и не подумала существовать, если бы и вправду существовала.

— Но ты, черт возьми, все равно для меня существуешь. Такая, какая есть.

— Хайль Гитлер!

— Ну ладно. Просто в качестве аргумента: Гитлер утверждает, что ты существуешь. Такая, как есть.

— Ничего у него не выйдет. Чтобы существовать, нужно обладать определенными степенями элементарной свободы.

— Если хочешь знать, будь здесь сейчас кто-нибудь еще, он пришел бы к выводу, что в настоящий момент ты вполне реальна. Чертовски реальна к тому же.

— А если ты хочешь знать, я считаю, что ты — самый неуклюжий, неприятный, бестактный и бесчестный из всех мужчин, с которыми мне когда бы то ни было приходилось спать в одной постели!

— А это — самый доказательный пример твоей ослиной, типично женской логики! Сначала ты вообще не существуешь. Потом тебя без конца трахают какие-то другие мужики. Давай, ради всего святого, реши наконец, что ты выбираешь — то или другое?

— Я вполне способна сделать то сравнение, которое могла бы сделать, если бы существовала в том виде, какая я есть на самом деле. Если бы я такой была.

— Но ты же не можешь не существовать и быть на самом деле. Одно и другое взаимоисключаются.

— Понятно. Теперь меня даже воображения лишают.

— О Господи! Я сдаюсь.

— Мне даже не позволено думать о том, какой я могла бы быть, если бы не имела несчастья быть созданной тобой. Не позволено думать обо всех тех чутких, умных, интеллектуально утонченных художниках, которые могли бы выдумать меня раньше, чем ты. Вместо этого мне приходится довольствоваться всего лишь гнилым плодом, прирожденным «сапожником», сломом в посудной лавке, не способным и за миллиарды лет оценить мою ранимость, деликатность и острый ум.

— Ах ты неблагодарная... да без меня ты была бы просто ничто!

— И было бы чудесно! С тобой-то я хуже чем ничто. — Она взирает на него с глубочайшим презрением. — А по-честному, истинная правда заключается в том, что ты еще и не начал осознавать, каким потенциалом я обладаю. — Она отворачивается. — Думаю, это даже не твоя вина. При твоей технической неуклюжести ничего другого и ожидать было нельзя.

— Что ты имеешь в виду? Какая еще техническая неуклюжесть?

— От твоего внимания, по всей видимости, ускользнуло то, что было бы непременно замечено каким-нибудь злосчастным третьим лицом, будь оно свидетелем происходящего: мы оба по-прежнему пребываем в смехотворной и нелепой позе сексуального совокупления.

— Это не так уж трудно исправить.

Он резко отстраняется и встает с кровати, возвращается к стулу, садится и скрещивает руки, а затем и ноги. Старательно смотрит через всю комнату на противоположную стену. Его собеседница бросает на него огорченный взгляд, приподнимается на локте и поворачивается спиной. Воцаряется молчание. Наконец она говорит потухшим, сдавленным голосом:

— Надеюсь, я не слишком многого требую, и вы не станете возражать, если я попрошу вас придумать на этот раз что-нибудь практичное, в виде исключения. Вроде одежек для меня. Тогда я могла бы одеться и уйти. Что-нибудь совсем простое. Домашний халат какой-нибудь.

— Сначала я должен тебе кое-что сказать.

— Все уже сказано. *Ad pauseam*⁵⁰.

— Нет, не все.

Обнаженная юная женщина на кровати издает вздох и упирается кулачком в бедро, высоко вздернув локоть; она молчит, но жест ее красноречиво говорит о том, что уступает она по принуждению. Он молча смотрит на ее спину, потом начинает говорить более спокойным тоном:

— Я признаю, что сделал одну серьезную ошибку. Не в отношении тебя, но в отношении ее. Ну ладно, допустим, ее не существует в историческом или научном смысле. Но раз уж у тебя столь острый ум, уверен — ты согласишься, что она обрела некую апострофическую и просопопеическую⁵¹ реальность.

— Продолжайте, продолжайте. Только не надо разговаривать, как толковый словарь.

Он глубоко вздыхает:

— Но поскольку ее не существует, а мы оба теперь согласны, что она — это не ты, я могу быть совершенно откровенен. Ошибка моя заключалась в том, что я пытался воплотить абсолютно аморальную и настырную старую потаскуху если бы она существовала — в образ

весьма привлекательной (хотя бы внешне) девушки, очень похожей на тебя. Я хочу сказать, кем же она была бы сейчас, в реальности, — если бы она существовала? Она же четыре тыщи лет только и делала, что отдавалась любому писаке, всем этим Томам, Дикам и Гарри, каждому, кто умел пером по бумаге водить: была фактически всего лишь парой вечно раздвинутых ног, вот и все. Мне следовало изобразить ее старой, заезженной клячей-сифилитичкой. Тогда по крайней мере я хоть чуть-чуть приблизился бы к истине. Ты не согласна?

— Мы закончили?

— Более того, она должна была бы — если бы существовала — провести некоторый маркетинг в отношении себя самой. Попробовать постучаться в одну дверь, в другую... «Привет. Я — Эрато. Продаю вдохновение и витание в облаках. В рассрочку. А эпиталамы⁵² вас не интересуют? А новые строки, писанные персонализированной алкеевой строфой?⁵³» Да всякий ей просто рассмеялся бы в лицо! Если бы не думал, что она сбежала из соседней психушки. — Он упирается взглядом в повернутую к нему спину. — Да все равно, теперь они при помощи компьютера и блока обработки словарных данных могут делать все то, что когда-то делала она, да к тому же в сотню раз лучше. Мне даже ее немножко жаль: бедная, досуха выдоенная корова! Если бы она существовала.

Теперь глубоко вздыхает лежащая на кровати девушка. Однако смотрит она по-прежнему в дальний угол комнаты.

— Мне достаточно лишь взглянуть на тебя, как ты лежишь тут в позе Венеры Роксби, чтобы понять, как все это было нелепо. Вполне очевидно, что к сегодняшнему дню она превратилась бы в склочную старуху, в бесформенном драном пальто, из тех, что роятся в помойках, бормоча что-то себе под нос... если бы она и вправду существовала.

Эта несколько неожиданная концовка (или апосиопесис⁵⁴) вызвана предшествовавшим ей движением той, что лежит на постели. При упоминании Венеры Роксби она повернулась и села совершенно прямо. Теперь, скрестив на груди руки, она взирает на мужчину на стуле; губы ее плотно сжаты, глаза тверды, словно обсидиан.

— Ну, теперь вы наконец закончили?

— Да.

— Уверена — ей очень хотелось бы быть старой, заезженной клячей. Тогда по крайней мере она могла бы уйти на покой. Куда-нибудь в такое место, где нет — просто не существует — мужчин.

— Но это вряд ли имеет хоть какое-то значение. Ее ведь тоже не существует.

— Я говорю так, опираясь на ваше же допущение.

— Которое сугубо гипотетично — до смешного.

— И сугубо шовинистично — по-мужски.

Он встряхивает головой и принимается рассматривать пальцы на собственной, закинутой на колено ноге.

— Поразительно, что именно ты так говоришь.

— Что я принимаю сторону представительницы моего пола?

— Ведь если бы она существовала и ее здесь не было — это означало бы, что делать всю грязную работу она предоставляет тебе. Именно твоему телу придется подвергнуться грязным домогательствам и сексуальному унижению, удовлетворяя мои желания. А это превращает ее просто в сводню. Нет?

— Я замечаю, что вы весьма типично оставляете без учета всю связанную с ней историческую ситуацию.

— Я вовсе не уверен, что мне нравится тот чисто теоретический элемент, который ты... вы пытаетесь ввести в нашу дискуссию.

— В отличие от вас, я — по воле случая — обладаю развитой способностью к состраданию и сочувствию. Я просто ставлю себя на ее экзистенциальное место.

— Если бы оно существовало. — Она возводит очи к потолку. — Ведь нам обоим ясно, что мы ведем совершенно абстрактный и ирреальный диспут. По сути своей подпадающий под ту

же категорию, что старый схоластический спор о том, сколько ангелов могут играть в скакалки на острие иглы. — Он разводит ладони: — Слово предоставляется вам.

Она пристально смотрит на него.

— Подозреваю, что вам никогда не приходило в голову, как ужасно было бы занимать место — если бы оно существовало — и выполнять роль и функцию, которые никак не подпадают ни под один из биологических законов. В полном одиночестве. Без помощи извне. Без выходных. Постоянно переодеваться — то так, то этак, меняя обличья. Какая невероятная скука. Однообразие. Сплошное сумасшествие. День за днем подвергаться грубым издевательствам в мозгах самых разных людей, страдать от непонимания, профанации, унижений. И никогда — ни слова благодарности. Никогда...

— Минуточку! А как же насчет...

Она повышает голос:

— Никогда и мысли о ней как личности, только о том, какую бы выгоду из нее извлечь. Никогда никакого сочувствия ее переживаниям. Вечно воображения не хватает, чтобы понять, что она, может быть, просто мечтает о капле нежности и симпатии, что она тоже женщина и в определенных ситуациях, в определенных обстоятельствах и настроении не может обойтись без мужского внимания, без услуг мужского тела — совершенно естественно, как всякая женщина; и, между прочим, это ничего общего не имеет с какими-то там унижениями и... — Она переводит дух. — Но какое все это имеет значение, если его сиятельство, кто бы он ни был, желает иного. Если он желает играть в собственные игры, оставляя ее...

— Да не я же все это начал!

— ...рыдать от отчаяния. — Она отворачивается, устремляет взгляд на стену. — Если бы она существовала, разумеется.

Он опять принимается рассматривать пальцы на ноге.

— Так насчет халата. Вы предпочитаете какой-то определенный цвет? И ткань?

— Я вас ненавижу!

— Как насчет зеленого?

— Вам это такое удовольствие доставило бы, правда? У нее хватило наглости возражать против того, чтобы с ней обращались всего лишь как с объектом сексуальных притязаний, так пусть катится. Отбросим ее назад, в ничто, как сношенный башмак.

— Но ты же сама об этом просила, всего минуту назад.

Она яростно взирает на него — миг, другой, потом быстро поворачивается и ложится на бок, спиной к нему, лицом к противоположной стене.

— Ни слова больше не скажу. Ты просто невозможен. — Пять секунд длится молчание. — Ты точно такой же, как все мужчины. Как только этот ваш нелепый клочок плоти между ногами получил свое, тут же стремитесь от нас избавиться поскорей.

— Если бы это соответствовало действительности, я бы уже давным-давно от тебя избавился. Просто ты только что убедила меня, что я могу делать все, что мне заблагорассудится.

— Точно.

— Что точно?

— У меня нет никаких прав. Сексуальная эксплуатация не сравнима с онтологической⁵⁵. Можешь уничтожить меня через пять строк, если тебе так захочется. Выбросить в мусорную корзину и даже думать обо мне забыть.

— Боюсь, для этого нет ни малейшей возможности.

— Забудешь, забудешь. Как все другие.

— Какие еще другие?

— Что за абсурдный вопрос? — Она бросает на него презрительный взгляд через плечо. — Ты что, хочешь сказать, что я у тебя — первая?

— Н-ну... возможно, что не совсем первая.

— И возможно, что и не последняя?

— Возможно.

— Значит, это более чем возможно, что я просто самая последняя из целой серии несчастных воображаемых женщин, которым выпал злой жребий попасть к тебе в руки. Чтобы быть выставленными прочь, как только кто-то более привлекательный появится на твоём пути.

— Между прочим, мой послужной список свидетельствует, что мои с ними отношения всегда были — и продолжают быть — глубоко гуманными и плодотворными для обеих сторон. В каждом отдельном случае мы всегда остаемся добрыми друзьями.

— С твоих слов, они представляются мне чудной компанией, где каждая — просто первоклассное воплощение дядюшки Тома в юбке.

— На такие слова я отвечать вообще не собираюсь.

— Вот удивил!

— Не далее как на днях одна из них сама сказала мне, что я предоставил ей слишком большую свободу в рамках нашего союза.

— Перед тем, как ее уничтожить.

— Я никогда не уничтожаю женщин, которые были мне друзьями.

— Ну да! Ты их собираешь всех в одном месте и мумифицируешь. Запираешь в погребе и ходишь туда глазеть и наслаждаться, тайно злорадствуя. Как Синяя Борода.

— Я нахожу это сравнение просто единственным в своем роде по оскорбительности!

— Оно вполне заслуженно. За множественные гадостные привычки. Их еще называют некрофилией.

Он поднимается на ноги:

— Ну ладно. Хватит. Ты только что заявила, что лучше тебе возвратиться в ничто без меня, чем быть хуже чем ничто — со мною. Так что — пока! Сама сделала выбор. Дверь вон там. — Он тычет большим пальцем в сторону двери. — Вот, пожалуйста. Видишь — там зеленый халат висит. Махровый. Все очень просто. Поднимайся с кровати, шагай к двери, облачайся в халат, и забудем обо всем, что было. Ничего этого не было. Твой ход.

Она бросает взгляд на дверь и снова отворачивается. Молчание. Она подтягивает колени к животу и отворачивается еще решительнее.

— Я замерзла.

Он идет к двери, берет купальный халат и, вернувшись, небрежно окутывает ее плечи зеленой махровой тканью. Затем снова опускается на свой стул. Она не произносит ни слова, но вдруг, странно медленно, будто надеясь, что он не заметит, позволяет себе расслабиться: тело ее обмякает, лицо утопает в подушке. Молчание растет и ширится. Ее левая рука осторожно выпутывается из складок халата и подбирается к глазам. Раздается чуть слышный, тщетно подавляемый всхлип. Человек, сидящий на стуле, поднимается, подходит к кровати и почти уже протягивает руку — коснуться плеча, но передумывает. Слышится новый всхлип. Человек садится на край кровати, спиной к лежащей; он старается ее не коснуться, но говорит более нейтральным тоном:

— Мы не очень последовательны.

Ее голос — почти шепот, на грани срыва:

— Потому что ты никогда не признаешь, что хоть в чем-то можешь быть не прав. Ты так недобр ко мне. Не понимаешь, как мне одиноко.

— Но ведь нам обоим было так хорошо вместе! Пока ты...

— Мне не может быть хорошо, когда у меня нет вообще никакого статуса. Когда я и представления не имею, кем я на самом деле должна быть. Когда я знаю, что все может кончиться в любой момент.

— У меня и намерения не было все это кончить.

— Откуда мне было знать?

— Просто я тебя поддразнивал. Шутя.

— Ничего подобного. Ты все время надо мной издевался. Пользуясь моей беспомощностью.

— А сейчас у тебя просто приступ паранойи.

— Вовсе нет!

Он чувствует, что она подвинулась за его спиной, и оборачивается. Она смотрит на него, укрывшись до подбородка халатом; глаза ее все еще влажны, лицо — само воплощение всех обиженных и беспомощных женских лиц от начала времен, выражающих одновременно и упрек и мольбу о сочувствии.

— Всего несколько часов тому назад меня и на свете не было. Я чиста и невинна, как новорожденное дитя. А ты этого не осознаешь.

Лицо ее в слезах еще более прекрасно и соблазнительно, чем в других состояниях. Он резко отворачивается:

— Не я все это начал.

— Ну как же не ты! Это же ты дал мне изложить весь этот невозможный бред про сатира, а потом сразу обвинил меня во лжи. Ты сказал, что я так же чиста и невинна, как стриптизерка в дешевом ночном клубе. Знаешь, это все равно как если бы сутенер обозвал одну из своих девочек проституткой.

— Беру эту фразу назад. Считай, что я ее стер.

— Тогда я подумала, а что я здесь делаю, с этим совершенно чужим мне человеком, позволяя ему унижать меня, оскорблять, извращать мою истинную суть, то, какая я в реальности? Ну, я хочу сказать, я сознаю, что — в техническом смысле — я ничто. Но то, какой — я чувствую — я была бы, если бы не была этим «ничто». Мою истинную, серьезную суть.

— Ну я же признал уже, что был не прав по отношению к ней. К Эрато.

— Да она меня вовсе не заботит. Речь идет обо мне!

— Хорошо.

— Я совсем не такая. Я уверена, что не такая.

— Ну я уже сказал — хорошо.

— Это было так грубо. Так вопиюще вульгарно.

— Я вполне готов признать, что было ошибкой с моей стороны сделать тебя такой невероятно прекрасной.

— Ты ни на шаг не приблизился еще к пониманию того, зачем существуют женщины, подобные мне.

— Я понимаю, мне надо было надеть тебя тяжелым подбородком, толстыми ногами, косоглазием, прыщами, дурным запахом изо рта... не знаю, чем еще. Всем, что могло бы заставить твою истинную, серьезную суть воссиять сквозь такую оболочку.

Молчание.

— С этим ты несколько запоздал.

— Ну почему же. Я как раз подумал. Ведь я уже дважды менял твою внешность. На сей раз это будет после основательной консультации, разумеется. Ты сама подскажешь мне специфические черты, которые могут сделать тебя совершенно непривлекательной для мужчин.

— Ты изменял только мою одежду. Вовсе не специфические черты моего тела. Это было бы просто абсурдно!

— Я всегда могу вытащить *deus ex machina*⁵⁶. Дай-ка подумать. Мы вместе уходим отсюда. Уезжаем в автомобиле. Попадаем в ужасную катастрофу. Ты изуродована ужасно, становишься инвалидом на всю жизнь; я снова теряю память, через десять лет мы случайно встречаемся снова и я влюбляюсь в тебя, обреченную передвигаться в инвалидном кресле. Из чисто духовных побуждений, разумеется.

Он украдкой бросает взгляд на ее лицо. Оно спрятано в подушку. Со слезами покончено, но теперь во всей ее фигуре заметна угрюмая замкнутость, погруженность в себя — такая бывает у детей после капризной вспышки: первое печальное провидение того, что несет с собой взрослость. Когда она начинает говорить, голос ее звучит ровно и холодно.

— А я-то полагала, вы предпочитаете классические формы союза.

— С Эрато — да. Но теперь, когда мы от нее отказались...

— Мне это представляется ужасно надуманным. Автомобильная катастрофа.

— Тогда — как насчет одного из тех восхитительно неопределенных концов?

И опять она медлит с ответом.

— Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду.

— Ну вот, пожалуйста. У нас не сработало. Мы демонстрируем, какие мы оба замечательно зрелые и современные, согласившись признать, что у нас не сработало. Одеваемся, уходим... Да, я уже вижу это, это мне нравится. Мы выходим, покидаем больницу, проходим через двор, останавливаемся на улице. Обыкновенные мужчина и женщина в мире, где вообще ничто никогда не срабатывает.

Нам даже не удается поймать такси для каждого из нас. Конечно, это не так уж страшно, но ведь нам обоим было бы намного легче при мысли, что мы больше никогда не увидим друг друга. Ты бы сказала: «Ну что ж...» И я бы в ответ произнес что-нибудь такое же банальное, вроде: «Ну что ж...» Мы бы улыбнулись друг другу — бегло и иронично, — подсмеиваясь над собственной банальностью, пожали бы друг другу руки. Повернулись спиной друг к другу и разошлись в разные стороны. Возможно, я обернулся бы украдкой — взглянуть на тебя в последний раз, но ты уже исчезла бы навек, растворилась в толпе прохожих, в облаках автомобильного чада. И мне не надо было бы сочинять мораль. Я иду в будущее, милосердно лишенный воображения. Ты уходишь в будущее, милосердно лишенная существования. Неплохо звучит, а? — Однако он продолжает, не ожидая ответа: — Критики будут в восторге. Они обожают полные пессимизма концы. Это доказывает им, какое мужество от них требуется, чтобы вести полную оптимизма жизнь.

Довольно долго она ничего не отвечает. Приподнимается на локте и оттирает не до конца высохшую влагу с глаз.

— Полагаю, вам не очень трудно вообразить пару-тройку сигарет? И — зажигалку и пепельницу?

Он поднимается, словно забывчивый хозяин, принимающий гостью.

— О, конечно. Какой-нибудь особый сорт?

— У меня такое чувство, что я скорее всего любила бы турецкие сигареты.

— С травкой?

Она энергично трясет головой:

— Нет, нет. Уверена — этот период у меня уже позади.

— Хорошо.

Он трижды быстро щелкает пальцами — большим и указательным. Тотчас же рядом с ней на кровати возникают пепельница из оникса, золотая зажигалка и серебряная сигаретница; это происходит так быстро, что она в испуге отшатывается. Потом берет овальной формы сигарету. Склонившись над закутанной в зеленое фигуркой, он дотягивается до зажигалки и подносит ей огня. Она выдыхает душистый дым, затем держит сигарету в пальцах, изящно отведя руку.

— Спасибо.

Плотно стянув на груди полы халата, она подвигается и садится прямо; потом незаметно и тщательно подтыкает халат под мышки. Он снова заботливо склоняется над ней:

— Что-нибудь еще?

Она устремляет на его заботливое лицо застенчивый, чуть опечаленный взгляд:

— Знаете... боюсь, я слишком многого требую... Мне кажется, я самую малость близорука.

— Милая девочка, что же ты сразу не сказала? Какую оправу ты предпочитаешь?

Она затягивается сигаретой, теперь глядя на дверь, выдыхает облачко дыма; потом обращает на него тот же застенчивый взгляд:

— Мне думается, я обычно носила бы такие голубоватые очки, с большими круглыми стеклами, в золотой оправе. Кажется, специалисты называют их «Джейн Остен»⁵⁷.

— Такие?

К ней протягивается его рука с очками.

— Блеск! Очень любезно. — Она надевает очки, прилаживает дужки и поднимает на него смущенный взор. — Такая глупость. Все эти мелочи. Смешные детали.

— Нисколько, нисколько. Что еще?

— Только если это не доставит вам беспокойства.

— Пожалуйста, прошу.

— Просто этот зеленый... — Она трогает пальчиком халат. — Подозреваю, это не совсем я.

— Выбирай.

— Что-нибудь такое... как темное вино? Как сок тутовых ягод? Я не знаю, припоминаете ли вы то место у Пруста...⁵⁸ О, это прелестно! Само совершенство! Именно то, о чем я думала. Спасибо огромное.

— Кофе?

— Нет. — Она взмахивает рукой с сигаретой. — Это замечательно.

— Не стоит благодарности. Просто еще одна пара строк.

— Действительно. Но все равно — спасибо.

Несколько минут она молча курит, рассматривая собственные босые ступни, виднеющиеся из-под полы нового халата. Он сидит на стуле. Наконец, с робкой улыбкой, она произносит:

— Майлз, мне не хотелось бы снова затевать спор... я могу называть вас «Майлз»?

— Пожалуйста.

— Вы были настолько любезны, что всего минуту назад заметили, что — хотя меня на самом деле и не существует — мне отныне будет все же позволено иногда высказываться (вы назвали это консультациями) по поводу наших отношений.

— Совершенно верно. Ты, например, говорила об определенных степенях элементарной свободы... Это я учел.

— Только... Ну, я хочу сказать... прошу простить мне попытку снова перековать наши орала на мечи, но мне кажется, вы все-таки стараетесь в одиночку устанавливать законы, касающиеся нашего совместного будущего.

— Это мне и в голову не приходило. Я просто высказал некоторую идею. Вполне открыт к любой дискуссии. Тебе что-то не нравится?

Она разглаживает халат.

— Ну, просто я подумала бы, что вам удалось бы более успешно добиться желаемого результата, если бы вы рассматривали все случившееся до сих пор как некую сюрреалистическую преамбулу... ну, если хотите, обратный ход нормального нарративного развития... к совершенно иному типу отношений между нами, включив их в гораздо более реалистический внешний контекст. — Она снова разглаживает халат на коленях. — Контекст, в котором мы встретились бы совершенно нормально и между нами развились бы совершенно обычные дружеские отношения. Я, разумеется, имею в виду, ну... эту вот сторону... как мы все время только и делаем, что отправляемся вместе в постель. Может быть, мы порой могли бы вместе отправиться и в театр. Обсуждать прочитанные книги. Посещать выставки. В таком вот роде.

— А-а.

— Я бы решилась предложить, поскольку все эти наскучившие постельные сцены уже имели место в фантастической преамбуле, вы могли бы найти гораздо более спокойный, гораздо более современный тон повествования и сконцентрировали бы внимание на более серьезных, взрослых предметах. Взять хотя бы наш культурный фон. Или вот, например, политика. Проблема абортов. Насилие на улицах. Ядерное разоружение. Экология. Киты. Белый хлеб. Все то, что мешает нам полностью сблизиться друг с другом.

— Те самые — более тонкие — нюансы этакого либерального Angst 'а?⁵⁹

— Совершенно верно.

— И что, ты видишь... культурный фон для себя самой?

— Мне кажется, я хотела бы быть... может быть, выпускницей Кембриджа? Специальность — английский язык? Чувствую, я могла бы опубликовать одну-две книги стихов... Не очень успешных с коммерческой точки зрения, но в определенных кругах заслуживших вполне солидную репутацию. Что-нибудь в таком роде. Я могла бы быть заместителем главного редактора в каком-нибудь литературном журнале.

— Очень сдержанная, утонченная, высокоморальная девица?

— Если только вы не считаете, что это слишком тщеславно с моей стороны. Слишком не похоже.

— Что ты, что ты. Вовсе нет.

Она скромно опускает взгляд:

— Благодарю вас.

— Ну а я?

Она постукивает сигаретой об оникс пепельницы.

— Ну что ж. Вас я, пожалуй, вижу в роли преуспевающего бизнесмена с неявно выраженными художественными интересами. Имеющего весьма слабое представление о том, что такое — я, каково мое окружение, да и вообще о мире за стенами его кабинета. Делающего деньги. Полагаю, я могла бы сказать, что я его смущаю, даже пугаю превосходством своего интеллектуального опыта, гораздо более интеллектуальной среды, в которой работаю. Понимаете? — Она на миг замолкает, потом поспешно добавляет: — Исключительно для того, чтобы создать реалистический контраст всему вот этому. Само собой разумеется.

— Понятно.

Она с минуту рассматривает его сквозь голубоватые стекла очков, потом поднимает руку и приглаживает спутавшиеся волосы, снова тщательно и как бы незаметно подтыкает халат.

— Майлз, я хотела бы сказать вам кое-что — теперь, когда мы стали более открыты друг другу. Я чувствую, что была некстати эмоциональна и прямолинейна несколько минут тому назад. Я вполне способна сочувствовать вашим проблемам. Особенно потому, что — как я понимаю — я сама составляю одну из них. Я сознаю, какое всепоглощающее значение господствующая капиталистическая гегемония придает сексуальности. И как трудно всего этого избежать. — Она слегка подтягивает колени и теперь сидит чуть боком, подогнув ноги, укрытая пурпурным халатом. Бросает на собеседника открытый, может быть немного совиный, взгляд через очки. — Я хочу сказать, ты, разумеется, можешь все это сделать, как ты находишь нужным. Если чувствуешь, что тебе не под силу то, что предлагаю я. Это вполне возможно.

— Но мне хотелось бы попробовать.

— Серьезно, я ведь вовсе не настаиваю.

— Мне кажется, вы исключительно великодушны ко мне. Ведь я так безобразно все напутал.

— Я же понимаю — нужно не только брать, но и давать.

— Ну да. Только я до сих пор брал, ничего не давая.

Она пожимает плечами:

— Поскольку в техническом смысле я просто не существую...

— Но вы существуете! Вы только что продемонстрировали наличие у вас собственной воли.

Она строит чуть презрительную тоию⁶⁰, как бы осуждая себя:

— Ну что ты, какая воля? Шепоток инстинкта.

Минуты две в палате царит тишина. И снова она разглаживает махровый пурпур:

— Просто божественный цвет. Обожаю приглушенный пурпур.

— Я рад.

Она молчит, потом возобновляет разговор на серьезные темы:

— Кроме всего прочего, мне не хотелось бы, чтобы ты испытывал чувство вины из-за... из-за того, что только брал... Я не так уж слепа к биологическим реалиям жизни. Мне было бы

неприятно, если бы ты решил, что я просто синий чулок. Твои ласки... ты скорее всего и сам заметил. То, что ты заставил меня делать в самом начале... вопреки самой себе, я... Что-то во мне было затронуто.

— От этого, я думаю, все становится еще хуже. Я беспардонно воспользовался тем, что вы — нормальная женщина.

— Но ведь и я вела себя не лучше. Это повествование о сатире... — От отвращения к себе она прикрывает ладонями глаза.

— Так это же я вас спровоцировал!

— Знаю. Но я сама разукрасила эту историю до предела. А должна была бы противиться, не соглашаться рассказывать ее вообще. Надеюсь, ты навсегда исключишь из текста ту часть, где... ну ты сам знаешь.

— Это моя вина.

— Мы оба виноваты.

— Вы слишком к себе несправедливы.

— Если по-честному, я так не думаю. — Она опять принимается разглаживать халат над коленями. — Дело в том, что ты просто взял и швырнул меня в омут. Сексуальный. Застал меня врасплох. С самой первой страницы своего существования я каким-то образом созначала, что я по сути своей очень скромна и застенчива, хотя, видимо, вполне привлекательна для мужчин.

— Весьма привлекательна.

— Нет, серьезно, я бы предпочла оставить здесь «вполне». Может быть, не без определенного элемента латентной сексуальности, но совершенно определенно не слишком *voulu*⁶¹. Из тех, кого нужно долго и нежно настраивать.

— Понимаю.

Глаз она не поднимает.

— На самом деле я хочу сказать, что — мне так кажется — я была бы готова пойти на некоторый компромисс касательно характера наших отношений... где-то в будущем, если ты так настаиваешь. Если бы мы узнали друг друга получше.

— Вы имеете в виду ту ситуацию, где вы — высоколобая дама-поэтесса, а я — неотесанный бизнесмен?

Она бросает на него быстрый взволнованный взгляд, исполненный искреннего ужаса:

— Пожалуйста, Майлз, не надо, я совершенно не имела в виду ничего подобного. Вовсе не неотесанный. Если бы это было так, я со всей очевидностью... мой персонаж и не посмотрел бы в твою сторону. Во всех отношениях очень милый человек. По-своему. Только самую малость... ограниченный, деформированный своей средой и профессией.

— Мне не вполне ясно, что за компромисс вы имели в виду.

— Если бы ты предпочел, чтобы они... ну, если говорить совсем-совсем прямо, они могли бы вступить в более откровенные отношения где-то в конце. Физически.

— Переспать, что ли?

— Ну если ты хочешь так это называть.

— Мне-то она показалась чуть слишком переборчивой для таких вещей.

— О, я думаю, такой она и была бы достаточно долго. На протяжении многих глав. Может быть, даже до конца.

— До климакса?

— Ты не исправим!

— Я не то хотел сказать.

— А я уверена — именно то! Но это не столь важно.

— Я все еще не вижу, как это могло бы произойти. С такими характерологическими предпосылками.

— Это не мне решать. Такие вещи — твоя область.

— И ваша тоже. Я так хочу.

Она снова опускает взгляд:

— Это же абсурд. Учить ученого. У тебя гораздо больше опыта. А я все время чувствую такой ужас. Ведь я появилась на свет всего несколько страниц назад!

— Ну и что? Вы так быстро овладеваете знаниями!

— Ты заставляешь меня краснеть.

— Ну что вы! Я говорю совершенно серьезно.

Она некоторое время молчит, потом бросает на него быстрый взгляд:

— Это правда?

— Абсолютная правда.

Она гасит в пепельнице сигарету.

— Ну тогда... Только что придумала... Абсолютный экспромт... Представь себе некий кризис в отношениях, тебя все больше тянет ко мне, просто отчаянно тянет, ты собираешься бросить жену, чтобы соединиться со мной...

— Какую еще жену?

Она поднимает на него удивленные глаза:

— Просто мне представилось, что ты должен быть женат. Я именно так тебя вижу.

— Должен же я хотя бы знать!

Скрестив на груди руки, она пристально смотрит на дверь.

— Во всяком случае, однажды, в знойный летний вечер, ты заявляешься ко мне, в мою квартиру в Найтсбридже⁶², чтобы все наконец выяснить и утрясти, сказать, почему ты меня так любишь и почему я не могу не любить тебя и всякое такое, а случилось так, что в этот вечер я легла спать очень рано и на мне только коротенькая ночная сорочка. — Она на мгновение задумывается, потом расправляет халат. — Или — вот это. Не важно что. Очень душно. В воздухе пахнет грозой. Мне не хочется тебя впускать, но ты настойчив, и вдруг, как-то неожиданно, все накипевшее изливается наружу, твоя прежняя робость оборачивается непреодолимой страстью, темным желанием, твоя мужественность наконец воспламеняется, и ты без единого слова бросаешься на меня, срываешь прозрачную одежду с моих обнаженных плеч, я кричу и сопротивляюсь, почти уже вырываюсь из твоих рук, мне как-то удается добраться до стеклянных дверей и выскочить в туман, под проливной дождь, а ты...

— Квартира на первом этаже?

— Ну конечно. Само собой разумеется.

— Я просто взволновался из-за соседей. Раз ты закричала.

— Ну ладно. Я не кричу, я шиплю, задыхаясь от ненависти, произношу слова злым шепотом. Я еще не успела продумать мелкие детали, Майлз.

— Прошу прощения. Я перебил.

— Я же впервые в жизни делаю все это.

— Прошу прощения.

— Теперь я забыла, где остановилась.

— Сразу за стеклянными дверьми. В тумане. Под проливным дождем.

— Я выбегаю на садовую лужайку, но ты такой быстрый, такой сильный, тобой владеет животная страсть, ты догоняешь меня, швыряешь на мягкий дерн и овладеваешь мной со зверской жестокостью, разумеется против моей воли, я рыдаю, когда твоя возбужденная похоть торжествует над моими глубоко укорененными принципами. — Она делает небольшую паузу. — Я лишь пытаюсь дать тебе черновой набросок... общую идею.

— Пожалуй, мне нравится мягкий дерн. Только мне казалось...

— Да?

— Ты вроде бы что-то такое говорила про то, как тебя нужно долго и нежно настраивать.

Она одаряет его трогательно смущенным и чуть обиженным взглядом и говорит тихо, устремив глаза долу:

— Майлз, я ведь женщина. Я соткана из противоречий, тут ничего не поделаешь.

— Конечно-конечно. Прошу прощения.

— Ну, я хочу сказать, очевидно, тебе нужно будет как-то подготовить эту сцену сексуального насилия. Ты мог бы, например, показать, как, до твоего появления, раздеваясь, я на миг подхожу к зеркалу, гляжу на себя, нагую, и задумываюсь втайне, может ли меня удовлетворить одна лишь поэзия.

— Обязательно буду иметь это в виду.

— Можно даже показать, как я грустно достаю с полки книгу Никола Шорье.

— Кого-кого?

— Возможно, я оказалась здесь чуть слишком *recherchee*⁶³. Отрывок, который я имею в виду, — это *deuxieme dialogue*⁶⁴. *Tribadicon*⁶⁵, как он грубовато его называет. Лионское издание тысяча шестьсот пятьдесят восьмого года. — Она вопросительно качает головой. — Нет?

— Нет.

— Извини. Я почему-то решила, что ты должен знать всю порнографическую классику наизусть.

— Могу ли я осведомиться, как это, просуществовав всего несколько страниц, ты ухитрилась...

— О, Майлз! — Она поспешно прячет улыбку и опускает глаза. — Право, я полагала, наша беседа протекает вне рамок текстовых иллюзий. — Снова поднимает на него взор. — Я хочу сказать, возьми, к примеру, тот эпизод, где, в образе доктора Дельфи, я спросила, почему ты просто не выскочил из кровати и не ушел из палаты. В реальности тебе понадобились целых шесть недель, чтобы отыскать ответ.

Должна же я была чем-то занять себя, пока тянулось ожидание. Я чувствовала: самое малое, что я могу сделать, — это ознакомиться с теми книгами, что дороже всего твоему сердцу. — Помолчав, она добавляет: — Я же твоя служащая. В каком-то смысле.

— Твоей добросовестности нет предела.

— Ну что ты!

— Копаться во всей этой отвратительной мерзости!

— Майлз, я не могла бы смотреть жизни прямо в лицо, если бы не относилась к своей работе добросовестно. Видно, такова моя природа. С этим ничего не поделаешь. Я стремлюсь не просто достичь цели, но пойти гораздо дальше.

Он внимательно за ней наблюдает. Она снова опустила глаза на кровать, будто смущена необходимостью вот так, всерьез, рассуждать о себе.

— Итак, мы остались в саду, под дождем. Что дальше?

— Думаю, в результате может оказаться, что я уже много глав подряд просто умирала от желания, чтобы ты наконец сделал что-то в этом роде, но, разумеется, моя натура эмоционально слишком сложна, чтобы я могла осознать это. На самом деле я рыдаю от любви к тебе. И наконец познаю оргазм. — Под дождем?

— Если ты не считаешь, что это *de trop*⁶⁶.

Пусть это будет при лунном свете, если тебе так больше нравится.

Он слегка откидывается на стуле:

— И этим все заканчивается?

Она мрачно вглядывается в него сквозь совиные очки:

— Майлз, вряд ли современный роман можно закончить на предположении, что простое траханье решает все проблемы.

— Разумеется, нет.

Она снова разглаживает халат.

— Со своей стороны, я рассматриваю эту сцену как финал первой части трилогии.

— С моей стороны, глупо было не догадаться.

Она дергает за ниточку, торчащую из махровой ткани халата.

— Во второй части трилогии, я думаю, я становлюсь жертвой собственной, до тех пор подавляемой, чувственности. Мессалиной⁶⁷ de nos jours⁶⁸, так сказать. Уверена, ты эту среднюю часть можешь сделать запросто, хоть во сне.

— Я, видно, чего-то не понял. Разве все удручающе скучные постельные сцены не должны были остаться в фантастической преамбуле в стиле «Алисы в стране чудес»?

— Искренне надеюсь, эти сцены не будут Скучными. Разумеется, сама я никакого удовольствия при этом не получаю. Я делаю все это от отчаяния.

— Откуда взялось отчаяние?

Она глядит на него поверх очков:

— Ну, ведь предполагается, что я — женщина двадцатого века, Майлз. Я в отчаянии по определению.

— А что происходит с моим персонажем?

Она берет из сигаретницы новую сигарету.

— А ты бы ужасно ревновал, начал пить, в делах у тебя — полный крах. В конце концов, тебе приходится жить на мои деньги, заработанные совершенно аморальным путем. Ты бы выглядел изможденным, истрепанным, отрастил бороду... стал пустой оболочкой... — она приостанавливается, чтобы зажечь сигарету, — того преуспевающего бананового импортера, каким когда-то был.

— Когда-то был... кем?!

Она выдыхает облачко дыма.

— В этом есть целый ряд преимуществ.

— Не испытываю ни малейшего стремления быть импортером бананов.

— Боюсь, ты будешь несколько бесцветным без какого-нибудь экзотического фона. Между прочим, я представляю себе нашу первую встречу в реальном мире в одном из твоих ист-эндских складов, где созревают бананы. Наш диалог, осторожный, не ставящий точек над «i», идет контрапунктом бесконечным рядам недозрелых фруктовых пенисов.

— Не уверен, что сумел бы написать такое.

— Мне было бы так неприятно потерять этот эпизод. — Пауза. — Я чувствую, что так будет правильно.

— Чувствуешь, что так будет правильно?

— Чувствовать, что это правильно, для меня очень важно, Майлз. — Она силится улыбнуться. В улыбке — боль обиды. — Я было надеялась, что ты успел понять это.

Он едва заметно вздыхает.

— Ну а третья часть этой трилогии?

— Но я собиралась несколько уточнить одну-две сцены во второй части. Когда противоестественная животная чувственность берет во мне верх. Сцена с двумя голландскими продавцами автомобилей и еще — с преподавателем гэльского языка.

— Думаю, я предпочел бы конспективное изложение. Не надо деталей. На данный момент.

— Ладно. Итак... — Она делает изящное движение рукой, в пальцах которой сигарета. — Ты, несомненно, отметил, что в первых двух частях недостает некоторого важного элемента? Нет?

— Боюсь, что нет.

— Религии.

— Религии?

— Думаю, мне следует стать монахиней. Можно дать несколько сцен в Ватикане. Они обычно прекрасно раскупаются.

Он не сводит глаз с бледно-розового ковра у ножек кровати.

— А я то думал, мы — невероятно утонченная выпускница Кембриджа. Специалист в области всего английского.

— В этом и будет заключаться пафос повествования! Когда та, что преклонялась перед Левисами и доктором Стайнером⁶⁹, подвергается зверски жестокому насилию со стороны...

— Знаешь, ты, кажется, здорово зациклилась на зверской жестокости, если мне позволено будет заметить.

Она опускает очки пониже и смотрит на него поверх стекол:

— Я так понимаю, что мы в принципе договорились, что любой сколько-нибудь точный мимесис⁷⁰ современной действительности должен символически отражать зверскую жестокость классовых отношений в обществе, где господствует буржуазия.

— Ну если ты так ставишь вопрос. А кто...

— Двадцать четыре юных партизана-марксиста в здании моей африканской миссии. Все, разумеется, черные. Для твоего персонажа там тоже найдется место. Он мог бы приехать в Рим на обряд посвящения. Со своей новой любовью.

— Но ведь я, кажется, тебя люблю.

Она выдыхает облачко дыма.

— Но уж никак не после того, как я принимаю постриг. Это было бы не *vraisemblable*⁷¹.

— Но откуда же возьмется эта новая женщина?

— Я говорю вовсе не о женщине, Майлз.

— Ты хочешь сказать...

— После потрясения, вызванного утратой — моим уходом в объятия Господа, полагаю, твои истинные сексуальные склонности могут вполне выразительно заявить о себе.

— Но...

— Дело вовсе не в том, что, как ты прекрасно знаешь, голубые составляют не менее тринадцати и восьми десятых процента англоязычных читателей, покупающих худлитературу. Это, разумеется, не должно на тебя повлиять. Но определенный смысл в этом есть.

Она опять принимается пощипывать торчащую из ткани нитку.

— Но с какой стати гомосексуалист вдруг захочет присутствовать на церемонии твоего посвящения?

— Да потому, что ты не можешь меня забыть. И кроме того, я думаю, тебе и твоему другу-парикмахеру должен очень нравиться весь этот высокий кэмп, экстравагантность всего этого. Ладан, облачения. Знаешь, было бы даже мило, если бы мы могли закончить тем, как ты принял лицо Девы Марии, статуи конечно, за мое лицо... после Моей смерти, разумеется... в местном храме.

— Я что, тоже теперь католик?

— С самого начала. Просто я тебе забыла сказать. — Она поднимает на него глаза. — У тебя должен быть цельный характер. И сознание греха. А их — двадцать восемь и три десятых процента.

— Католиков?

Она кивает.

— И у меня возникла замечательная идея. Про последнюю сцену. Я вижу, как ты тайком кладешь небольшую гроздь бананов у подножия моей статуи... или ее статуи. Думаю, это могло бы придать особый смысл всему повествованию, если так закончить.

— Какой тут, к черту, может быть особый смысл? Не понимаю.

Она скромно и снисходительно ему улыбается:

— Не беспокойся. Полагаю, разбирающиеся читатели уловят символику.

— А ты не думаешь, что эта связка фруктовых пенисов будет выглядеть кощунственно — в заданных-то обстоятельствах?

— Нет, если ты положишь их, опустившись на колени, со слезами на глазах.

— А ты не думаешь, что я мог бы обронить один банан, поднимаясь по крутым ступеням ко входу в храм?

— Зачем?

— Выходя из храма после этой сцены *ex voto*⁷², я мог бы поскользнуться на этом банане.

С минуту она смотрит на него, потом опускает глаза. Молчание. Наконец она произносит тоненьким от обиды голоском:

— Я же пыталась тебе помочь.

— А я вовсе и не собирался смеяться над тобой. Естественно, при падении у меня будет сломан позвоночник.

— Я просто пыталась наметить общую рамку, чтобы дать простор твоим способностям. Как я их понимаю. — Она пожимает плечами, не поднимая глаз; гасит сигарету в пепельнице. — Не важно. По правде говоря, мне безразлично.

Он поднимается со стула и присаживается на край кровати, лицом к ней.

— Я и в самом деле вижу здесь массу возможностей.

— На самом деле ты в этом вовсе не убежден.

— Нет, серьезно. Поразительно, как ты открываешь целый новый мир всего лишь несколькими широкими мазками.

Она бросает на него колеблющийся, полный сомнения взгляд и снова опускает голову.

— Наверное, все это кажется тебе просто глупым.

— Ничего подобного. Очень поучительно. Чувствую, что знаю тебя раз в десять лучше, чем раньше.

— Ну это же просто краткий набросок.

— Такие наброски чаще всего многое открывают.

Она пристально глядит на него сквозь огромные дымчатые стекла очков:

— Я верю, ты смог бы написать это, Майлз. Если бы очень постарался.

— Все-таки одна-две мелочи мне не вполне ясны. Можно, я...

— Пожалуйста.

— Ну, к примеру, откуда вдруг двадцать четыре черных партизана? Зачем?

— Мне показалось, что так будет правильно. Именно это число. Конечно, я не специалист в этой области. Тебе надо будет как следует изучить проблему.

— Это совпадает с числом букв в греческом алфавите.

— Разве? А я и забыла. — Он пристально на нее смотрит. Она яростно трясет головой. — Мне очень жаль. Не вижу никакой связи.

— Может, ее и нет.

— Да ее просто не может быть. Откровенно говоря.

— А еще — ты, случайно, не подумала, какое имя следовало бы дать этой столь эмоционально сложной героине твоей трилогии?

Она касается пальцами его руки:

— Я так рада, что ты упомянул об этом. Мне не хотелось бы, чтобы ты думал — я с порога отвергаю все твои идеи. Знаешь, может быть, Эрато как раз то, что нужно. Это не избито. Думается, мы можем это оставить как есть.

— А тебе не кажется, что это несколько натянуто? Назвать современную женщину именем незначительной, почти неизвестной богини, которой к тому же никогда и не существовало?

— А мне это имя представляется очаровательно загадочным.

— Но ведь оно наверняка может понравиться лишь одной сотой процента наших предполагаемых читателей, тем, кто хоть краем уха слышал это имя. И даже они вряд ли знают, кем она была или, вернее, не была!

— Даже такой малый процент имеет значение, Майлз.

Он склоняется над ней, опершись на закинутую за ее талию руку. Их лица сближаются. Его глаза отражаются в голубоватых стеклах ее очков. Она отстраняется, повыше натягивая халат.

— У меня остался еще один вопрос.

— Да?

— Тебя давно не шлепали по твоей нахальной греческой попке?

— Майлз!

— Эрато!

— А мне казалось, у нас все так хорошо шло.

— Это у тебя все так хорошо шло.

Он снимает с нее очки и вглядывается ей в глаза. Лицо ее без очков кажется удивительно юным, ни на день не старше лет двадцати, совершенно невинным, словно у десятилетней девочки. Она опускает глаза и шепчет:

— Ты не осмелишься. Никогда тебе этого не прощу.

— Ну испытай меня. Вдохнови меня еще каким-нибудь высоколитературным сюжетом.

Она снова натягивает халат повыше, глядит в сторону, потом опять опускает голову.

— Я уверена — она придумала бы что-нибудь получше, если бы и вправду существовала.

— Только не вздумай начать все сначала. — Он приподнимает ее лицо и поворачивает к себе, так что ей приходится взглянуть ему прямо в глаза. — И нечего делать такой невинный вид и недовольно морщить свой классический носик.

— Майлз, ты делаешь мне больно.

— Так тебе и надо. А теперь послушай. Может, ты и вправду совсем незначительная богиня какого-нибудь пятого разряда. Может, ты вполне миловидна, как и полагается у богинь. Или у стриптизерок. И конечно, ты — дочь своего отца. Проще говоря, то самое яблочко, что так недалеко от яблони падает. А папаша твой — самый вонючий из всех старых козлов в вашем теологическом списке. В тебе самой нет ни капельки скромности или застенчивости. Интеллект у тебя совершенно такой же, как у какой-нибудь «роковой женщины» двадцатых годов. Моя главная ошибка — в том, что я не изобразил тебя этакой Тедой Бара⁷³. — Он слегка изменяет угол, под которым повернуто к нему ее лицо. — Или Марлен Дитрих в «Голубом ангеле».

— Майлз, прошу тебя... Не понимаю, что за напасть тебя одолела!

— Твое поразительное нахальство — вот что меня одолело! — Он постукивает кончиком пальца по ее классическому носику. — Прекрасно вижу, к чему ты клонишь! Просто пытаешься прокрутить такую эротическую сцену, которая выходит за все художественно допустимые границы.

— Майлз, ты меня пугаешь!

— На самом-то деле тебе просто до смерти хочется, чтобы я сорвал с тебя этот халат и набросился на тебя. Пари держу, если бы у тебя хватало силенок, ты сама на меня набросилась бы.

— А теперь ты просто ужасен!

— И я не разложил тебя у себя на коленях и не задал хорошую трепку исключительно потому, что прекрасно понимаю — это доставило бы тебе исключительное удовольствие.

— Майлз, это жестоко!

Он снова постукивает пальцем по кончику ее носа:

— Все, деточка. Окончена игра. Слишком уж часто ты в нее играла.

Он выпрямляется и повелительно щелкает пальцами в направлении стула, где прежде сидел. Столь же мгновенно, как и раньше, там появляется вешалка с легким летним костюмом, сорочка, галстук, носки, трусы и — под стулом — пара башмаков. Он поднимается с кровати.

— Теперь я буду одеваться. А ты будешь слушать. — Он надевает сорочку и, застегивая пуговицы, поворачивается к Эрато. — Не думай, пожалуйста, что я не понимаю, что за всем этим кроется. Просто ты делаешь все мне назло. Тебе невыносимо видеть, как у меня рождаются собственные замечательные идеи. А твоей невыносимо слабой героине, так неубедительно подделывающейся под высокоученую молодую женщину, ни на миг не удалось скрыть твое поразительное незнание сегодняшних интересов литературы. Держу пари, тебе и в голову не пришло, что должны на самом деле означать эти обитые стеганой тканью стены. — Он молча смотрит на нее, не закончив застегивать сорочку. Она качает головой. — Я так и знал. Серые стены — серые клетки. Серое вещество? — Он крутит пальцем у виска. — Ну как? Доходит?

— Все это... происходит в твоём мозгу?

— Умница.

Она оглядывает стены, устремляет глаза на купол потолка, потом снова на него.

— Мне и в голову не приходило.

— Ну вот, начинаем понемножку двигаться в нужном направлении. — Он наклоняется — натягивает трусы. — Ну а амнезия?

— Я... я думала, это просто такой способ...

— Способ чего?

— Ну чтобы был повод написать кое-что о...

— И при всем при этом мы воображаем себя специалисткой в области английского языка и литературы! Господи! — Он снимает с вешалки брюки. — Ты еще скажи мне, что никогда и слыхом не слыхала о Тодорове?⁷⁴

— О ком?

— Так-таки и не слыхала?

— Боюсь, что нет, Майлз. Мне очень жаль. Он поворачивается к ней, держа брюки в руках:

— Как же можно обсуждать с тобой теоретические проблемы, когда ты даже базовых текстов в глаза не видала?

— Так объясни мне.

Он надевает брюки.

— Ну-с... Если говорить попросту, для неспециалиста, весь утонченный символизм образа амнезии исходит из ее двусмысленной природы, ее гипостатической и эпифанической фасций, из диегетического процесса. Особенно когда мы говорим об анагнорисисе⁷⁵. — Он принимается заправлять сорочку в брюки. — Отсюда — доктор Дельфи.

— Доктор Дельфи?

— Естественно.

— «Естественно» — что, Майлз?

— Тщетно пытаться справиться с амнезией моментально.

— А мне казалось, она пыталась справиться с ней сексуально.

Он поднимает голову, раздраженно перестав заправлять сорочку в брюки.

— Господи, да секс всего лишь метафора. Должен же быть там хоть какой-то объективный коррелят герменевтической стороны происходящего. Ребенку понятно.

— Конечно, Майлз.

Он застегивает молнию.

— Слишком поздно. — Он садится, начинает натягивать носки.

— Право же, я тогда ничего не поняла.

— Еще бы. Там должны были быть две совершенно первоклассные финальные страницы. Лучшие из всего, что я когда бы то ни было написал. А ты ворвалась в текст как слон в посудную лавку, черт бы тебя взял совсем!

— Ну, Майлз, какой слон, я же и тридцати двух килограммов не вешу!

Он поднимает голову: на лице — гримаса терпеливо-добродушного страдания.

— Послушай, любовь моя, что касается тела, тут у тебя все в порядке. А вот с интеллектом...

Он у тебя подотстал лет этак на триста.

— Ну и нечего так злиться из-за этого.

— Да я и не злюсь вовсе. Просто указываю тебе кое на что — для твоей же пользы.

— Все вы стали такими ужасно серьезными. В наши дни.

Он грозит ей пальцем — и носком, который держит в той же руке.

— Очень рад, что ты об этом заговорила. Это совсем другое дело. Может, в обычной жизни и остается еще место для юмора, но в серьезном современном романе его просто быть не может. Я вовсе не против потратить часок-другой строго наедине, — чтобы обменяться с тобой шуточками вроде тех, которые тебе так по душе. Но если я позволю чему-то такому просочиться в опубликованные мною тексты, репутация моя вмиг обратится в прах. — Пока он произносит эту тираду, она сидит с низко опущенной головой. Наклонившись, чтобы надеть носок, он продолжает, уже не так резко: — Это — вопрос приоритетов. Я понимаю, тебя воспитали как

язычницу и ты с этим ничего поделаться не можешь. Да и нагрузили тебя таким обширным полем деятельности, требуют от тебя такой глубины и напряженности воображения, каких ты себе и представить никогда не могла... я-то полагаю, это было серьезной ошибкой — выбрать для этого существо, весь предыдущий опыт которого составляли любовные песенки. Наиболее подходящей кандидатурой для современного романописания была бы твоя сестра — Мельпомена⁷⁶. Не понимаю, почему ее не выбрали. Но, снявши голову, по волосам не плачут.

Она вдруг произносит тоненьким голоском:

— А можно мне спросить?

Он поднимается и берет со спинки стула галстук.

— Конечно.

— Мне непонятно: если в обычной жизни еще осталось место для юмора, почему его не может быть в романе? Я полагала, роману на роду написано отражать жизнь.

Он так и оставляет галстук незавязанным и стоит, уперев руки в бока.

— Ох Ты, Боже мой! Просто не знаю, как тебе объяснить. С чего начать. — Он слегка наклоняется к ней. — Роман, отражающий жизнь, уж лет шестьдесят как помер, милая Эрато. Ты думаешь, в чем суть модернизма? Не говоря уже о постмодернизме? Даже самый тупой студент теперь знает, что роман есть средство размышления, а не отражения! Ты-то хоть понимаешь, что это значит?

Она качает головой, избегая его взгляда. То, что она говорила о себе, повествуя о сцене с сатиром, кажется, начинает происходить на самом деле: она теперь выглядит девочкой не старше семнадцати, школьницей, которую вынудили признаться, что она не выполнила домашнего задания. Он наклоняется еще ниже, постукивает вытянутым пальцем о палец другой руки.

— Темой серьезного современного романа может быть только одно: как трудно создать серьезный современный роман. Во-первых, роман полностью признает, что он есть роман, то есть фикция, только фикция и ничего более, а посему в его планы не входит возиться с реальной жизнью, с реальностью вообще. Ясно?

Он ждет. Она покорно кивает.

— Во-вторых. Естественным следствием этого становится то, что писать о романе представляется гораздо более важным, чем писать сам роман. Сегодня это самый лучший способ отличить настоящего писателя от ненастоящего. Настоящий не станет попусту тратить время на грязную работу вроде той, что делает механик в гараже, не станет заниматься сборкой деталей, составлять на бумаге всякие истории, подсоединять персонажи...

Она поднимает голову:

— Но ведь...

— Да, разумеется. Очевидно, в какой-то момент он должен что-то написать, просто чтобы продемонстрировать, насколько ненужным и несоответствующим делу является романописание. Только и всего. — Он принимается зывязывать галстук. — Я говорю очень просто, чтобы тебе было легче понять. Ты следишь за ходом моей мысли?

Она кивает. Галстук наконец завязан.

— В-третьих. Это самое главное. На творческом уровне в любом случае нет никакой связи между автором и текстом. Они представляют собою две совершенно отдельные единицы. Ничего — абсолютно ничего — нельзя заключить или выяснить ни у автора в отношении текста, ни из текста в отношении автора. Деконструктивисты доказали это, не оставив и тени сомнения. Роль автора абсолютно случайна, он является всего лишь агентом, посредником. Он не более значителен, чем продавец книг или библиотекарь, который передает текст читателю qua⁷⁷ объект для чтения.

— Тогда зачем же писателю ставить свое имя на титульном листе книги, а, Майлз? — Она застенчиво поднимает на него глаза. — Я просто спрашиваю.

— Так большинство писателей такие же, как ты. Ужасающе отстали от времени. А тщеславны — просто волосы дыбом встают. Большинство из них все еще питают буквально средневековые иллюзии, полагая, что пишут собственные книги.

— Да что ты говоришь! А я и не представляла.

— Если тебе нужен сюжет, людские характеры, напряженность действия, яркие описания, вся эта до-модернистская чепуха, отправляйся в кино. Или читай комиксы. Не берись за серьезных современных писателей. Вроде меня.

— Конечно, Майлз.

Он вдруг обнаруживает, что с узлом галстука не все в порядке, довольно раздраженно распускает узел и снова принимается вывязывать галстук.

— Главный приоритет для нас — это способ дискурса, функция дискурса, статус дискурса. Его метафоричность, его несвязанность, его абсолютно ателеологическая⁷⁸ самодостаточность.

— Конечно, Майлз.

— Не думай, я прекрасно понимаю — тебе кажется, что ты меня сейчас поддразнивала, но я рассматриваю это как симптом твоих до смешного устаревших взглядов. На самом деле ты не способна вдохновить кого бы то ни было даже на элементарный анализ — на уровне кандидатской диссертации. Безнадежный случай: ведь твоя первая мысль всегда одна и та же — как бы поскорей заставить героев снять одежду и забраться в постель. Абсурд! Все равно что мыслить на уровне стрел и лука в век нейтронной бомбы. — Он рассматривает макушку ее низко склоненной головы. — Я знаю, ты, в общем-то, в душе существо довольно безобидное, я даже чувствую к тебе определенную привязанность. Думаю, из тебя получилась бы замечательная гейша. Но ты безнадежно утратила всякий контакт с жизнью. Это просто ужасно. Пока ты не вмешалась сегодня в текст, сексуальный компонент в нем оставался клинически строгим и, если мне позволено будет так выразиться, был весьма талантливо лишен всякой эротики. — Он опускает воротник сорочки и еще раз подтягивает узел галстука, ставший после вторичного вывязывания более совершенным. — Явно метафизическая по сути сцена. Во всяком случае, для академически подготовленного читателя, а только с такими и следует сегодня считаться. И тут врывается ты, вся тщательно сбалансированная структура разлетается вдребезги, запорота до смерти, взлетает на воздух, все тривиализировано, фальсифицировано, подогнано под вульгарные вкусы массового читательского рынка. Все уничтожено. Просто невозможно. Мой галстук правильно повязан?

— Да. Мне ужасно жаль.

Он снова опускается на кровать и надевает башмаки.

— Послушай, Эрато, я буду с тобой абсолютно искренен. Давай посмотрим фактам в глаза, это ведь не в первый раз, что мы с тобой зря тратим время на выяснение отношений. Не стану отрицать — порой ты мне очень помогаешь, когда речь идет об одном или даже двух элементарных аспектах так называемого женского интеллекта... поскольку фундаментальные задачи современного романа, к сожалению, должны осуществляться посредством создания разнообразных, довольно поверхностных масок и декораций, — иначе говоря, образов женщин и мужчин. Но не думаю, что ты хоть когда-нибудь могла возвыситься до понимания интеллекта творческого. Ты как какой-нибудь завзятый редактор, всегда кончаешь тем, что решаешь переписать всю книгу самостоятельно. Не выйдет. То есть я хочу сказать, если тебе так уж хочется писать книги, иди и пиши их сама. Это не так уж трудно — у тебя получится. Читательская аудитория, предпочитающая женские романы определенного сорта, в последнее время невероятно расширилась: «И он вонзил свои три буквы в мои пять букв». Что-нибудь в этом роде. — Он затягивает шнурки на башмаках. — Почитай-ка, что пишет Джонг⁷⁹.

— Ты хочешь сказать — Юнг? Швейцарский психолог?

— Не существенно. Дело вот в чем. Ты должна наконец принять как данность, что для меня, для нас — для всех поистине серьезных писателей ты можешь быть лишь советчицей по вопросам редактуры, да и то лишь в одной-двух вполне второстепенных областях. — Он встает и протягивает руку за пиджаком. — И скажу тебе со всей откровенностью, что и в этом на тебя уже нельзя полностью положиться. Ты продолжаешь действовать так, будто мир по-прежнему вполне приятное место для существования. Более вопиющей поверхностности в подходе к жизни

вообще и представить себе невозможно. Все международно признанные и добившиеся настоящего успеха художники наших дней четко и безоговорочно доказали, что жизнь бесцельна, беспросветна и бессмысленна. Мир — это ад.

— Даже если ты международно признан и добился настоящего успеха? Неужели, Майлз?

Он стоит, разглядывая ее склоненную голову.

— Не остроумно, дешево и совсем по-детски.

— Прости, пожалуйста.

— Ты что, сомневаешься в искренности трагического восприятия у ключевых фигур современной культуры?

— Нет, Майлз. Разумеется, нет.

Он некоторое время молчит, чтобы она смогла в полной мере осознать его неодобрение; потом продолжает еще более критическим тоном:

— Ты вот тут придумываешь сомнительные шуточки по адресу женщин двадцатого века: они, мол, по определению, должны испытывать отчаяние. На самом-то деле ты умереть готова, только бы быть настоящей женщиной. Наслаждаешься каждой минутой своего женского существования. Ты не способна узнать отчаяние в лицо, даже если бы оно вдруг свалилось тебе на голову с какой-нибудь крыши.

— Ну, Майлз, я же ничего с этим поделать не могу.

— Прекрасно. Тогда будь женщиной и получай от этого наслаждение. Но не пытайся при этом еще и мыслить. Просто прими как данность, что так уж выпали биологические карты. Не можешь же ты обладать мужским умом и интеллектом и быть в то же время всехней подружкой. Это что, по-твоему, звучит неразумно?

— Нет, Майлз. Раз ты так говоришь.

— Прекрасно. — Он надевает пиджак. — А теперь я предлагаю забыть весь этот неудачный эпизод. Пожмем друг другу руки. И я уйду. А ты останешься здесь. Как-нибудь в будущем, когда — и если — я почувствую, что мне нужен твой совет по какому-нибудь мелкому вопросу, я тебе позвоню. Не обижайся, я тебе обязательно позвоню. И я думаю, в следующий раз мы встретимся на людях. Я поведу тебя в кафе, где готовят прекрасные кебабы, за ланчем мы побеседуем, выпьем рецины⁸⁰, будем вести себя как современные цивилизованные люди. Если будет время, провожу тебя в аэропорт, посажу в самолет, летящий в Грецию. И все. О'кей? — Она покорно кивает. — И последнее. Я подумал, что мне приятнее было бы, если бы в будущем наши отношения строились на материальной основе. Я буду выплачивать тебе небольшой гонорар за каждую использованную вещицу, идет? И налог не придется платить, я всегда могу сказать, что это просто исследование.

Она снова кивает. Он наблюдает за ней, потом протягивает ей руку, которую она вяло пожимает. Он некоторое время колеблется, потом наклоняется, целует ее в макушку и гладит обнаженное плечо.

— Не унывай, детка. Это у тебя пройдет. Надо же было все тебе сказать, верно?

— Спасибо за откровенность.

— Не стоит благодарности. Входит в обслуживание. Так. Может, тебе что-нибудь нужно? Пока я не ушел? Красивое платье? Журнал какой-нибудь? «Для вас, женщины»? «Хорошая хозяйка»? «Вог»?

— Да нет, все нормально. Обойдусь.

— Рад буду по дороге вызвать тебе такси. — Она качает головой. — Точно? — Она кивает. — Ты не обиделась? — Она снова качает головой. Он улыбается, почти добродушно. — Ведь на дворе восьмидесятые! Двадцатый век.

— Я знаю.

Он протягивает руку и ерошит волосы на греческой головке:

— Ну, тогда — чао!

— Чао.

Он отворачивается и направляется к двери. Идет твердым шагом, с видом человека, с нетерпением ожидающего нового делового свидания после успешного заключения выгодной сделки. Mann ist was ißt⁸¹, а также — что на нем надето. В прекрасно сшитом костюме, с университетским галстуком Майлз Грин выглядит дважды, а может быть, и десятижды человеком светским, опытным, нисколько не смущающимся (ведь на дворе — восьмидесятые!) из-за того, что в этот до предела заполненный день выбрал пару часов, чтобы провести их с той, кто — по сути своей — всего лишь девица, вызываемая по телефону для определенного рода услуг; но теперь он, освеженный, собирается заняться более серьезными делами: может быть, встретиться с литагентом, или принять участие в литературоведческой конференции, или погрузиться в мужественно-мирную обстановку своего клуба. Впервые за все время в палате устанавливается атмосфера некоей правильности происходящего, некоей здоровой реальности.

Увы, атмосфера эта рассеивается почти так же быстро, как возникла. На полпути к двери уверенные шаги замирают. Сразу же становится ясно, чем это вызвано: двери, полпути до которой уже пройдено, больше нет. Там, где она была, теперь тянется сплошная, серая, обитая стеганой тканью стена; исчез даже крючок. Майлз оглядывается на фигурку той, кого так сурово отчитывал, но она по-прежнему сидит на кровати с потупленным взором и явно не замечает изменения обстановки. Он снова смотрит туда, где была дверь; щелкает пальцами в направлении стены. Стена остается неизменной. Еще раз и еще: ничего. Помешкав немного, он решительно подходит к стене и ощупывает руками обивку, будто он — слепой, пытающийся отыскать ручку двери. Затем прекращает поиски, отступает на два-три шага, будто готовится пробить стену плечом. Вместо этого он вытягивает руки перед собой, как бы примериваясь к воображаемой двери, которую сейчас возьмет и насадит на петли. Снова раздается щелчок пальцами. И снова стена остается такой же точно гладкой и бездверной. Он мрачно взирает на то место в стене, где раньше была дверь. Потом отворачивается и решительно подходит к изножью кровати.

— Ты не имеешь права!

Она очень медленно поднимает на него взор:

— Конечно, Майлз.

— Я здесь главный.

— Конечно, Майлз.

— Если ты полагаешь, что кто-нибудь поверит в это хотя бы на миллионную долю секунды...

Я приказываю тебе поставить дверь на место! — В ответ она лишь откидывается на подушки. — Ты слышала, что я сказал?

— Конечно, Майлз. Может, я и глупая, но вовсе не глухая.

— Тогда делай, что тебе говорят.

Она поднимает руки и подкладывает их под стройную шею. Халат запахнут уже не так плотно.

Она усмехается:

— Обожаю, когда ты притворяешься сердитым.

— Предупреждаю, если эта дверь не будет возвращена на место в течение пяти секунд, я прибегну к физическому насилию!

— Как наш любимый маркиз?

Он набирает в грудь побольше воздуха.

— Ты ведешь себя как пятилетняя девчонка!

— Ну и что? Я же всего-навсего пятиразрядная богиня.

Он пристально смотрит на нее или, скорее, на ее ехидно прикушенную нижнюю губу.

— Ты не можешь держать меня здесь против моей воли.

— А ты не можешь выйти из собственного мозга.

— Еще как могу! Это же всего-навсего мой метафорический мозг! Ты ведешь себя совершенно абсурдно. Ты с таким же успехом могла бы попытаться отменить законы природы или повернуть время вспять.

— Но я же так и делаю, Майлз. И очень часто. Если помнишь.

Неожиданно вся одежда, которую он с таким тщанием надевал на себя, исчезает — до последней нитки. Подчиняясь инстинкту, он поспешно прикрывается руками. Она снова прикусывает губу.

— Этого я не потерплю! Не собираюсь в таком виде стоять здесь!

Она похлопывает ладонью по кровати рядом с собой:

— Тогда почему бы тебе не подойти и не присесть на краешек?

Он отворачивается и скрещивает руки на груди:

— Ни за что!

— Твой бедный малыш замерз. Так хочется его поцеловать!

Он устремляет мрачный взгляд в пространство — насколько это позволяет ограниченное пространство палаты. Она снимает пурпурный халат и легко бросает его Майлзу, стоящему у изножья кровати.

— Может, наденешь? Мне он больше не нужен.

Он с отвращением глядит на халат, потом хватает его с кровати. Халат слишком мал, но ему удается как-то натянуть его на себя, запахнуть полы и завязать пояс. Затем он решительно подходит к стулу, поднимает и несет в дальний угол — к столу; там он решительно ставит его на пол, спинкой к кровати. Садится, скрестив на груди руки и закинув ногу на ногу; упорно смотрит в угол простеганной палаты, футах в пяти от себя. В палате царит молчание. Наконец он произносит, едва повернув голову:

— Ты, конечно, можешь отобрать у меня одежду, можешь помешать мне уйти. Но чувств моих изменить ты не можешь.

— Я понимаю. Глупый ты, глупый!

— Тогда мы до смешного зря тратим время.

— Если ты сам их не изменишь.

— Никогда.

— Майлз!

— Как ты сама говоришь, чтобы существовать, нужно обладать определенной степенью элементарной свободы.

Она некоторое время наблюдает за ним, потом вдруг встает с кровати, наклоняется и извлекает из-под нее венок из розовых бутонов и листьев мирта. Поворачивается лицом к стене, будто там зеркало, и надевает венок на голову; слегка поправив его, она принимается, как бы играючи, приводить в порядок волосы, высвобождая то одну, то другую вьющуюся прядь; наконец, удовлетворенная тем, как теперь выглядит, обращается к сидящему в противоположной стороне комнаты мужчине:

— Можно, я подойду к тебе и посижу у тебя на коленях, а, Майлз?

— Нет, нельзя.

— Ну пожалуйста.

— Нет.

— Если хочешь, мне будет всего пятнадцать.

Он резко поворачивается вместе со стулом и предостерегающе поднимает палец:

— Не подходи!

Но она направляется к нему. Однако, не дойдя нескольких шагов до того места, где он сидит напрягшись, видимо готовый броситься на нее, если она ступит хоть чуть-чуть ближе, она опускается на колени на истертом ковре и присаживается на пятки, покорно сложив на коленях руки. Несколько мгновений он выдерживает устремленный на него взгляд, затем отводит глаза.

— Ведь я дала тебе только малое зернышко. Всю настоящую работу ты сделал совершенно самостоятельно.

Некоторое время он сидит молча, потом взрывается:

— Господи, да стоит мне подумать про всю эту бодягу про пластилин, про пашу, про гаремы! Да еще про Гитлера к тому же! — Он резко к ней поворачивается: — Знаешь, что я тебе скажу?

Ты — самая фашистская маленькая фашистка за всю историю человечества! И не думай, что, стоя на коленках и глядя на меня глазами издыхающего спаниеля, ты хоть на миг сможешь меня одурачить.

— Майлз, фашисты ненавидят секс.

Его улыбка похожа скорее на карикатурную гримасу.

— Даже в самых отвратительных философских доктринах можно отыскать что-нибудь положительное.

— И любовь ненавидят.

— В данных обстоятельствах это слово звучит непристойно.

— И нежность тоже.

— Нежности в тебе — как в том долбаном кактусе.

— И они совершенно не способны смеяться над собой.

— О, я ясно вижу, что тебе может представляться в высшей степени забавным лишать человека всяческой веры в собственные силы, весьма эффективно кастрировать его на всю оставшуюся жизнь. Ты проявляешь невероятную выдержку, не катаясь по полу от смеха, — так это все весело и забавно. Извини, я не могу участвовать в твоём веселье.

— И все это только из-за того, что приходится признать: ты все-таки во мне немножко нуждаешься?

— Я в тебе не нуждаюсь. Нуждаешься в этом — ты. Это тебе надо меня унижать.

— Майлз!

— Я сказал именно то, что хотел, и именно теми словами. Ты с самого начала разрушала все, что я делал, своими абсолютно банальными, пустяковыми, пригодными только для повестушек идеями. Когда я начинал, у меня не было ни малейшего желания быть таким, как теперь. Я собирался идти по стопам Джойса и Беккета. Но нет — пришлось семенить за тобой! Каждый женский персонаж следовало изменить до неузнаваемости. Она должна непременно делать то-то, поступать так-то. И каждый раз надо было ее раздувать так, чтобы она заполонила собою все, превратила бурный поток в стоячее болото. А в конце — всегда одно и то же. То есть — ты, черт бы тебя взял совсем. Ты постоянно вынуждаешь меня вырезать самые лучшие эпизоды. Помнишь тот мой текст — с двенадцатью разными концами? Это было само совершенство, никто раньше до такого не додумался. И тут ты принимаешься за дело, и у меня остается их всего три! Вещь утратила главный смысл. Пропала даром. — Он сверлит ее гневным взглядом. Она закусывает губы, чтобы сдерживать смех. — Могу сообщить тебе, где будет происходить действие новой книги. На горе Атос⁸².

Улыбка ее становится еще шире. Он отворачивается и продолжает проповедь:

— Все, на что ты способна, — это диктовать. У меня столько же прав на собственные высказывания, как у пишущей машинки. Господи, подумать только, сколько бесконечных страниц французы потратили, пытаюсь решить, написан ли сам писатель или нет... Да десяти секунд, проведенных с тобой, хватило бы, чтобы раз и навсегда этот факт доказать.

— Ты прекрасно знаешь, что это неправда.

— Тогда почему нельзя вернуть эту дверь? Почему, хотя бы один раз, я не могу закончить сцену так, как я считаю нужным? Почему тебе всегда должно принадлежать последнее слово?

— Майлз, но ведь сейчас именно ты ведешь себя не очень последовательно. Ты же сам только что объяснил, что между автором и текстом не существует абсолютно никакой связи. Так какое значение все это может иметь?

— Но ведь должен же я иметь право по-своему решать, каким образом быть абсолютно не связанным с моим собственным текстом!

— Я сознаю, что я всего-навсего твоя ни на что не годная безмозглая подружка, но даже мне видно, что сказанное тобой не выдерживает логического обсуждения.

— А я не собираюсь обсуждать с тобой вещи, которые гораздо выше твоего разума.

Она разглядывает его повернутую к ней вполборота спину.

— Мне не хотелось бы прекращать разговор, пока мы снова не станем друзьями. Пока ты не позволишь мне сесть к тебе на колени и немножко тебя приласкать. И поцеловать.

— Ох, ради всего святого!

— Я очень тебя люблю. И больше не смеюсь над тобой.

— Ты вечно надо мной смеешься.

— Майлз, ну посмотри же на меня!

Он бросает на нее полный подозрения взгляд: она действительно не смеется. Но он снова отворачивается, будто увидел в ее глазах что-то похуже смеха. Она сидит, молча за ним наблюдая. Потом произносит:

— Ну хорошо. Вот тебе твоя дверь.

Он бросает быстрый взгляд туда, где раньше была дверь, — она действительно там. Эрато поднимается, направляется к двери, открывает ее.

— Ну давай. Иди сюда, посмотри, что там, с другой стороны. — Она протягивает ему руку. — Ну иди же. Ничего страшного.

Он сердито поднимается со стула, идет к открытой двери, не обращая внимания на ее руку, и заглядывает в дверной проем. Он смотрит на мужчину в пурпурного цвета халате, который ему слишком мал, на изящную нагую девушку с венком из розовых бутонов на волосах, на ее классической формы лоно, видит кровать на заднем плане, часы с кукушкой и висящий на них призрачно-белый хитон, стеганные серые стены. Все это встает перед ним, словно отраженное в зеркале или у Магритта⁸³. Она делает жест рукой, приглашая его пройти в дверь.

— Нелепость какая!

Он сердито отворачивается. Она закрывает дверь, задумчиво разглядывает его спину, делает несколько шагов в его сторону, приближаясь к нему сзади.

— Слушай, не будь таким вредным. Полежи рядышком со мной.

— Нет.

— Мы не будем больше разговаривать. Будем просто любить друг друга.

— Ни за что. Никогда.

Она закладывает руки за спину.

— Ну просто как друзья.

— Какие друзья?! Мы просто двое арестантов, запертых в одной камере. Из-за непереносимой мелкотравчатости твоего типично женского умишки.

— Я чувствую, что очень многим тебе обязана за то, что ты только что мне объяснил. А ты не даешь мне вознаградить тебя по достоинству.

— Нет уж, спасибо большое.

И так уже достаточно мягкий, тон ее становится просто умоляющим:

— Майлз, я ведь чувствую — ты втайне этого хочешь.

— Ничего ты не чувствуешь.

— Я буду с тобой такой же, какими были критские жены, когда их мужья вернулись после осады Трои. Они делали все, чтобы показать, как они соскучились. Это описание было в UR-тексте⁸⁴, но в сохранившихся памятниках в этом месте сплошь лакуны.

— Ты просто невозможна.

— Это жестоко!

— Я категорически заявляю, что меня не интересуют сексуальные извращения Древней Греции.

— А я чувствую, что на самом деле — интересуют. — Она на несколько мгновений замолкает. — Иначе ты не боялся бы посмотреть мне в глаза.

Он резко оборачивается:

— Да я нисколько не бо...

Кулачок у нее очень маленький, но правый апперкот нанесен снизу, от пояса, и не просто молодой женщиной, которая хоть и не атлетического сложения в прямом смысле слова, но

может вполне гордиться своей физической подготовкой. Удар нанесен с удивительным профессионализмом, время точно рассчитано, так же точно рассчитано и попадание — прямо в подбородок. Можно заподозрить, что она наносит такой удар не впервые. Совершенно очевидно, что наибольший эффект достигается именно хорошо рассчитанной неожиданностью, ведь известно, что ее папаша предпочитал, чтобы его целенаправленные удары сыпались как гром с ясного неба. Голова мистера Майлза Грина резко откидывается назад. Рот широко раскрывается, глаза стекленеют, зрачки не фокусируются: он покачивается и медленно опускается на колени; с минуту пытается снова подняться, но затем, в результате весьма умелого и твердого толчка босой пяткой прелестной левой ноги, опрокидывается на изношенный ковер цвета увядающей розы. И лежит без движения.

III

Вот что, однако, рождает у многих убеждение, что существование бога трудно доказуемо. Они не способны подняться мыслями над предметами, воспринимаемыми посредством чувств; они настолько не привыкли рассматривать что бы то ни было без того, чтобы прежде не вообразить его себе — а ведь это есть способ мышления, применимый лишь к материальным объектам, — что все невообразимое кажется им непостижимым. Об этом явственно свидетельствует тот факт, что даже философы преподносят своим ученикам как максимум, что ничто не может быть воспринято умом, не будучи прежде воспринято чувствами... из чего, однако, следует, что концепции бога здесь вовсе нет места. Мне представляется, что те, кто пытается использовать воображение, чтобы постичь эту концепцию, ведут себя так, словно хотят воспользоваться зрением, чтобы слышать звуки или ощущать запахи.

*Rene Descartes. Discours de la Methode*⁸⁵

Дочь мнемозины взирает на свою жертву, задумчиво трогая кончиком языка костяшки все еще сжатых в кулачок пальцев. Некоторое время спустя — традиционные десять (хотя на этот раз никем не отсчитанных) секунд — она решительно перешагивает через простертое на полу тело и подходит к кровати; нажимает на кнопку звонка. Стоит ей лишь коснуться кончиком пальца его пластмассовой пуговки, как из девушки-боксера она моментально превращается в женщину-врача. Она снова — доктор Дельфи. Белый халат, грудной карман с торчащими из него ручками, именная планка, волосы стянуты в строгий узел тоненьким черно-белым шарфиком (венки из розовых бутонов исчез, как и хитон, висевший на часах с кукушкой), образ восстановлен до мельчайших деталей. Как и прежде, сурово-холодное выражение лица. Ни следа нежности или поддразнивания.

И теперь, таинственным образом ре-преобразившись, она возвращается к недвижно лежащему на полу мужчине и опускается рядом с ним на колени. Словно спортивный врач на ринге, она поднимает кисть его руки — проверить пульс. Затем склоняется над лицом — он распростерт на спине — и приподнимает ему веко. И тут открывается дверь.

В дверях стоит пожилая медсестра, явно из тех, кто строго придерживается правил и никаких вольностей не допустит. В ее позе, во всем ее облике, прежде чем она успевает произнести хоть одно слово, видится абсолютная беспрекословность, уверенность в том, что она лучше всех в этом больничном мире знает, для чего существует и чем занят этот ее мир. Неодобрительно, без капли юмора, смотрит она сквозь очки на распростертое тело. Доктор Дельфи явно поражена. Довольно неуклюже для обычно столь грациозного существа, она поднимается с колен.

— Старшая... Я полагала, сегодня дежурит сестра Кори.

— Я тоже так полагала, доктор. Но, как обычно, ее невозможно отыскать.

Глаза ее снова обращаются на пациента.

— С этим тоже все как обычно, не правда ли?

— Боюсь, что так.

— У меня и так не хватает персонала. А пациенты вроде него доставляют нам больше хлопот, чем все остальные, вместе взятые.

— Хорошо бы вы прислали медбрата с носилками. Надо бы уложить его обратно в постель.

Старшая сестра мрачно кивает, но остается стоять, глядя на лежащего без сознания пациента с таким отвращением, будто перед ней — невымытое подкладное судно.

— Вы знаете мое мнение, доктор. Таким необходимо гормональное лечение. Если не хирургическое вмешательство. В прежние времена мы с этим справлялись именно так.

— Я знакома с вашими взглядами, сестра, благодарю вас. Вы были настолько любезны, что изложили их нам довольно пространно на прошлом собрании сотрудников отделения.

Старшая сестра ощетиливается:

— Я должна заботиться о безопасности наших сестер.

Доктор Дельфи скрещивает руки на груди:

— Я тоже.

— Иногда мне приходит в голову мысль: а что бы подумал доктор Боудлер⁸⁶, если бы он еще был жив? Про то, что делается в нашей больнице во имя медицины.

— Если вы говорите о всех наших новых подходах...

— Ничего себе — подходы! Я-то знаю, как их следует называть! Не больница стала, а Бедлам⁸⁷ настоящий!

— Будьте так добры, пришлите медбрата с носилками!

Старшая и ухом не ведет.

— Конечно, вы думаете, что я всего-навсего старая дура, доктор, но позвольте мне вам сообщить кое-что еще. Я давно собираюсь поговорить с вами об этом. Эти стены. Их же не ототрешь!! Грязь — отвратительная, липкая грязь скопилась в каждой складочке обивки! Они просто кишат септициемией!⁸⁸ Это чудо, что нас еще не одолевают эпидемия за эпидемией!

— Посмотрю, не удастся ли мне организовать парочку — для вас лично, сестра!

Это уж слишком. Старшая гневно подается вперед:

— И придержите ваш сарказм для кого-нибудь другого, девушка! Через мои руки прошло больше так называемых молодых специалистов, больно много о себе понимавших, чем через ваши — тарелок с горячим супом! Ваше поколение считает, что вам все известно. Могу вам напомнить, что я имела дело с подобными случаями, когда вы еще пеленки пачкали.

— Сестра!..

Но дракона в юбке остановить невозможно.

— Половина пациентов в этом отделении — просто симулянты. Меньше всего им нужно, чтобы их по головке гладили недопеченные доктора, только-только со школьной скамьи...

— Сестра, я прекрасно понимаю, что у вас сейчас очень трудный период...

— Это никакого отношения к делу не имеет!

— Если вы сейчас же не прекратите, мне придется поговорить о вас с заведующей.

Это не помогает; сестра гордо выпрямляется:

— Миссис Тэтчер⁸⁹, чтоб вы знали, вполне разделяет мои взгляды. Как на дисциплину, так и на антисептику.

— Вы что, пытаетесь показать мне пример дисциплинированности?

— Не вам говорить мне о дисциплинированности! Наше отделение катится в тартарары с тех самых пор, как вас к нам назначили!

— Полагаю, вы хотите сказать, что оно теперь только наполовину походит на тот концентрационный лагерь, каким было до моего появления?

Сразу же становится ясно, что эта с такой готовностью предпринятая атака ведет в ловушку. Старшая сестра направляет взор в пространство над головой доктора Дельфи и говорит с полной достоинства сдержанностью человека, готового всадить нож в спину ненавистного коллеги:

— Лучше концентрационный лагерь, чем эстрадный стриптиз.

— Что вы хотите этим сказать?

Сестра по-прежнему вонзает в дальнюю стену буравчики глаз.

— Не думайте, что мне не известно, что происходило в демонстрационном зале третьего дня.

— И что же там происходило?

— А то вы не знаете! Вся больница об этом гудит.

— Я не знаю.

— Мистер Лоуренс демонстрировал новый метод надреза при мастэктомии⁹⁰.

— Ну и что в этом такого?

— Говорят, он демонстрировал его при помощи хирургического мелка на вашей груди. Голой!

— Но он вряд ли сумел бы продемонстрировать свой метод на одетой груди! — Сестра издает носом звук, полный глубочайшего скепсиса. — Я просто случайно проходила мимо, когда он искал добровольца.

— На глазах у двадцати четырех студентов. И все — мужчины! Если меня правильно проинформировали.

— И что же?

Глаза сестры, вдруг вспыхнув — если только нечто тускло-серое может вспыхнуть, — встречаются с глазами врача.

— Говорят, что большинство наблюдавших, кажется, меньше всего изучали линию надреза.

Доктор Дельфи улыбается — очень тонкой улыбкой:

— Сестра, мне нужно пойти в аптеку, получить две тридцатимиллиграммовые таблетки дембутопразила. А вы, пока вы тут, может быть, все же сделаете и то, зачем я вас первоначально вызывала?

В бледно-зеленых глазах за стеклами очков зажигается злобный огонек.

— Увидим... доктор. Мы еще увидим. — И, сделав этот прощальный выстрел, обозленная сестра — «доктор» в ее устах прозвучало скорее как плевок, чем обращение, — уходит.

Доктор Дельфи несколько мгновений глядит ей вслед, затем быстрым движением упирает руки в бока и поворачивается к пациенту. Смотрит на лежащего без сознания мужчину. И следующее ее движение оказывается абсолютно не медицинским. Она отводит правую ступню далеко назад и резко пинает в бок простертое на полу тело, с такой силой и точностью, что вполне можно предположить — она столь же хороший футболист, как и боксер. Эффект этого «пинка жизни» сказывается незамедлительно. Майлз Грин сразу же садится, держась рукой за пострадавший бок; по виду его никак не скажешь, что он только что выплыл из обморока.

— Это было больно.

— Именно этого я и хотела. Что за гадкую подлянку ты мне подкинул!

— А я думал, она получилась забавной.

Доктор сердито грозит ему пальцем:

— Я вызывала сестру Кори. На его лице появляется выражение абсолютной невинности, глаза полны удивления.

— Но я думал, старшая сестра — это твоя идея. Доктор Дельфи мерит его пристальным взглядом; потом снова отводит ногу назад, и он получает новый, еще более сильный пинок. Однако на этот раз Майлзу удается парировать самый страшный удар:

— Ну, это был просто экспромт.

— Ничего подобного! Она была отделана до малейшей реплики! Ты все время держал ее наготове, точно камень за пазухой. В своей обычной... ты просто пытался уложить меня на обе лопатки.

— Но ты прекрасно справилась с этим. Он улыбается, она — нет.

— Да к тому же — старшая сестра! Не думай, пожалуйста, что я не поняла, на что ты намекаешь!

— На что намекаю?

— Да на мою противную настоящую сестру!

— Всего лишь случайное совпадение.

— Да перестань же ты обращаться со мной, как с кретинкой какой-нибудь! Ее очки меня нисколько не обманули. Я эти бледно-зеленые рыбки гляделки за милую узнаю! Не говоря уж об этой ее манере вести себя: я, мол, святее, чем ты, во сто раз, святее не бывает! Вечно вынюхивает, где тут грязь. Грязь — с ее точки зрения. Говорит, это ее святая обязанность. Моральный долг перед историей. Свинья похотливая!

— Да нет, честно! Я кое-что другое имел в виду.

— А что касается этой инфантильной и совершенно необязательной непристойности, этой сцены с раздеванием перед... и дело не просто в том, что ты настолько лишен вкуса, лишен малейшего понимания того, как тебе повезло, что ты можешь хоть как-то видеть меня, не говоря уже о том, чтобы меня касаться, и... безнадежно! Я умываю руки. — Она продолжает, не останавливаясь. — Стоит мне только подумать о бесконечных часах, которые я... и над тем, что... наверное, я просто сошла с ума. — Он открывает рот, пытаясь что-то сказать, но она торопливо продолжает: — Двадцать минут назад все могло прийти к абсолютно счастливому концу. — Он осторожно подносит ладонь к подбородку. — До этого. Когда я просила тебя позволить мне посидеть у тебя на коленях.

— Тебе просто надо было доказать, кто здесь главный.

— Если бы тебе медведь на ухо не наступил и ты был бы способен различать тончайшие языковые нюансы, ты заметил бы, что я употребила выражение «приласкать и поцеловать», несомненно сентиментальное и весьма избитое, но тем не менее вполне в данном контексте знаковое, во всяком случае в кругах лингвистически умудренных, к каковым мы, по всей видимости, и принадлежим.

— Я заметил.

— Когда женщины говорят это, они хотят выразить свою нежную привязанность. — Она мрачно смотрит на него. — Полагаю, ты не распознал бы оливковую ветвь, даже если бы сидел в саду среди оливок.

Он откидывается на спину и снова растягивается на старом розовом ковре, закинув руки за голову; глядит вверх, прямо ей в глаза:

— Твой стилистически весьма интересный синопсис данного сюжета имеет лишь один недостаток: в нем ничего не сказано о том, что ты нарочно выбрала такой момент, когда я не мог не отказать тебе.

— Отвергаю это утверждение целиком и полностью. На самом деле это был такой момент, когда от тебя требовался лишь скачок воображения.

— Сквозь твой обруч.

Она подходит на шаг ближе и яростно взирает на него, скрестив руки поверх белого халата.

— Послушай, Майлз, пора нам кое-что как следует прояснить. Раз уж ты так точно сравнил себя с дрессированным псом, так и быть, приму участие в дурацкой игре — я спускаю тебя с поводка. Я понимаю — инфантильный ум должен каким-то образом высвободить нецеленаправленную энергию. Но все эти роли, все эти шуточки, необходимость делать вид, что я даже и не слышала о Цветане Тодорове и о герменевтике, о диегезисе и деконструктивизме⁹¹, — со всем этим теперь покончено. Когда речь идет о литературных проблемах, требующих истинной зрелости и опыта, как, например, конец произведения, решаю я. Это ясно?

— Да, доктор.

— И можешь избавить меня от твоего сарказма. Должна напомнить, что ты всего лишь абсолютно случайное и преходящее биологическое явление и что...

— Что я такое?!

— Ты слышал. Микроскопическое ничтожество, амебоподобный трутень, трупная муха, заблудившаяся в полете сквозь неизмеримый зал вечности. Тогда как я — архетип женщины, наделенный архетипическим здравым смыслом, развивавшимся на протяжении многих тысячелетий архетипическим пониманием высших ценностей. Сверх всего этого, тебе, как и мне, прекрасно известно, что мое физическое присутствие здесь абсолютно иллюзорно и является всего-навсего эпифеноменом, результатом определенных электрохимических реакций, происходящих в правой и, если хочешь знать, патологически гипертрофированной доле твоего мозга. Более того, — она останавливается, чтобы перевести дух, — ну-ка убери руку с моей щиколотки!

— Да мне просто интересно знать, есть ли у архетипов щиколотки.

— Только попробуй поднять руку повыше, получишь здоровенный пинок. Какого еще не получал.

Он убирает руку.

— Итак, ты говорила...

— Вопреки твоим слишком осязаемым недостаткам и несоответствиям, я все-таки сохраняла слабую надежду, что в один прекрасный день ты сможешь — с моей помощью — осознать, что самое малое, чем ваш эгоистичный, самонадеянный и надоедно-животный пол обязан моему полу за все его прошлые...

— Ради Бога, не начинай все сначала!

— ...жестокости, — это немного нежной привязанности, когда мы об этом просим.

— То есть требуется перетрах?

Она опускает голову, меряя его пристальным взглядом, потом очень медленно направляет в его сторону обвиняющий палец, словно пистолет, курок которого она вот-вот готова спустить:

— Майлз, я тебя предупреждаю. Ты на самом краю пропасти.

— Тогда я беру обратно этот вульгаризм.

— Я сказала, что мне необходимо?

— Нежная привязанность. Постараюсь в следующий раз не забыть.

Она решительно скрещивает на груди руки и глядит на дальнюю стену комнаты.

— Между прочим, пока шла та последняя сцена, я приняла решение. Следующего раза не будет.

Тиканье часов с кукушкой звучит особенно громко в тишине, спровоцированной этим «указом». Губы Майлза расплываются в улыбке.

— Кто это сказал?

— Я это сказала.

— Как ты только что изволила меня проинформировать, на самом деле ты вовсе не стоишь здесь надо мной — ты у меня в голове. Мне не совсем ясно, каким образом любое решение по поводу нашего совместного будущего может зависеть от тебя одной.

Она бросает на него быстрый пронизательный взгляд. В глазах его, в его улыбке светится нескрываемое самодовольное ехидство. Однако никогда еще за всю долгую историю своего существования, подобная улыбка не стиралась с лица с такой быстротой. Несколько мгновений он способен издавать только слабое кряканье, затем резко садится, широко раскрыв от удивления рот. Из положения сидя он поднимается на колени, яростно водит руками в пустом пространстве, которое только что, пару секунд назад, заполняла она. Она бесследно исчезла. Он встает на ноги, в отчаянии снова ощупывая руками воздух вокруг себя. Поспешно оглядывает палату, приседает, чтобы заглянуть под кровать, потом снова оглядывает замкнутое серыми стенами пространство.

— О Господи!

Он решительно шагает к двери, рывком отворяет ее, только чтобы вновь увидеть ту же самую палату, вход в которую загораживает его собственное отчаянное лицо, венчающее фигуру его оставшегося в одиночестве двойника. Закрыв дверь, он прислоняется к ней спиной и пристально вглядывается в кровать. Мгновение спустя он поднимает левую руку и со всей силы щиплет себя за кисть пальцами правой. Снова оглядывает комнату. Наконец сдавшись, он сглатывает ком в горле, откашливается. Голос его обретает странный, полувопросительный-полуумоляющий тон:

— Эрато... дорогая?

Тишина.

— Сука паршивая!

Тишина.

— Этого не может быть!

— Этого не только НЕ не может быть. Это есть. Голос ее раздается из того угла комнаты, где стоят стол и стул, но голос совершенно бестелесен. Нет ни малейшего признака ее физического присутствия.

— Да куда ты подевалась, ради всего святого?

— Туда, откуда мне вообще не следовало уходить.

— Разве можно так поступать? А ты еще рассуждала о том, что я нарушаю правила...

— Хочу кое-что спросить у тебя, Майлз. Интересно, стал бы ты обращаться со мной так поварварски злобно, как в последние час-полтора, если бы я была не той, что есть на самом деле, а дочерью крестного отца какой-нибудь мафии? Если бы ты знал, что мне стоит только поднять телефонную трубку и сказать ему пару слов, как он заключит контракт на твое убийство?

— А я хочу знать, почему я тебя не вижу?

— У тебя только что развилась небольшая аневризма мозга, то есть патологическое расширение артерии. К сожалению, это повлияло на центры, управляющие контактом между волеизъявлением и мысленной визуализацией. Они расположены вблизи кортекса⁹² и часто оказываются легко уязвимы.

Кажется, им овладевает ужас какого-то иного рода. В отчаянии он устремляет взгляд на пустой стул:

— Я даже не помню, как ты выглядишь!

— Может быть, хотя бы это отучит тебя лезть в те области, о которых ты и понятия не имеешь. Вроде амнезии.

На ощупь, словно слепой, он пробирается к кровати и тяжело садится в изножье.

— Это необратимо?

— Уверена, что все литературное сообщество вместе со мной станет молить Бога, чтобы так оно и было.

— Ты не можешь так со мной поступить. — Голоса больше не слышно. Он просовывает руку под полу пурпурного халата и прикладывает ладонь к сердцу. — Мне дурно.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Мне нужен врач.

— Я — врач.

— Настоящий, реальный врач.

— Если хочешь знать, Майлз, та абсурдно-романтическая роль, какую мне вечно приписываешь ты, да и весь твой невротический род, не имеет к реальности никакого отношения. А я, между прочим, получила медицинское образование психолога-клинициста. И так уж случилось, что моя специализация — психическое расстройство, которое вы, невежды, именуєте литературой.

— Психическое расстройство?

— Вот именно, Майлз. Психическое расстройство.

— А как же...

— С моей точки зрения, ты просто некто, кому необходимо какой-либо деятельностью освободиться от подавленного ощущения первичной травмы. Как это обычно бывает, травма оставила у тебя ярко выраженное стремление к деструктивному реваншу. И — опять-таки как обычно — ты пытался сублимировать это столь же ярко выраженной тенденцией к вуаеризму и эксгибиционизму. Я встречалась с этим явлением десятки тысяч раз. Точно так же ты подчиняешься характерной патологии, когда пытаешься справиться с этой невыявленной травмой путем постоянной погруженности в квазирегрессивную активность, выражающуюся в писании и публикации написанного. Со всей ответственностью могу заявить, что здоровье твое могло бы значительно улучшиться, если бы ты полностью и совершенно открыто погрузился бы в те два вида регрессивной активности, что лежат в самой основе твоей деятельности.

— Стал бы открыто подглядывать в замочную скважину и выставлять напоказ собственные гениталии?

— Существует профессия, допускающая и даже вознаграждающая подобного рода активность. Правда, в несколько сублимированной форме.

— А именно?

— Театральная деятельность, Майлз. Тебе надо было бы стать актером или режиссером. Только, боюсь, уже слишком поздно.

— Лицом к лицу ты не решилась бы так разговаривать со мной.

— Ты так считаешь потому, что всегда с неизбежностью воспринимаешь меня как суррогат собственной матери, иными словами, как главный объект подавляемого чувства отторжения, эдипова комплекса, трансмутировавшего в *Rachsucht*⁹³, то есть потребность в реванше, мести. Мне думается, тебе давно пора перечитать труды Фрейда. Или другого из моих наиболее талантливых учеников — Фенихеля. Попробуй прочесть его «Психоаналитическую теорию невроза». Нью-Йорк, У. У. Нортон и Со., тысяча девятьсот сорок пятый год.

— Да если бы Фрейд хоть раз встретился с тобой, он утопился бы в Дунае!

— Не будь ребенком, Майлз. Ты только снова и снова подтверждаешь мой диагноз.

— Что ты хочешь этим сказать? Как это — «снова и снова»?

— Не думаю, что мне удастся благоприятно истолковать истинные намерения, лежащие в основе потребности унижать, хотя бы и символически, женщину-врача. — Он молчит. Вдруг ее голос раздается гораздо ближе, у самой кровати, прямо за его спиной: — На самом-то деле, знаешь, это не были удары грома и трезубцы. В нашей семье всегда верили в целительные силы самой природы.

Он сидит понурив голову; вдруг, без всякого предупреждения, резко оборачивается и бросается через угол кровати, словно регбист, импровизирующий перехват, туда, откуда доносится голос. Увы, его правое колено цепляется за довольно высокий угол больничной койки, и, несмотря на отчаянные попытки удержаться, он летит на пол. Сердито поднимается на ноги. Теперь выводящий его из себя голос раздается откуда-то из-под купола потолка, прямо над его головой:

— На твоём месте я бы не стала волноваться. Ведь это не помешает тебе вести абсолютно нормальный образ жизни. Очень возможно, что гораздо более полезный. В качестве землекопа. Или мусорщика.

Он устремляет взгляд вверх:

— Знаешь, лучше тебе здесь больше не появляться. Богом клянусь.

— А я вовсе не намерена снова здесь появляться. На самом деле в очень скором времени твоя аневризма распространится на близлежащие слуховые центры. Ты не сможешь даже слышать мой голос.

Он почти кричит в потолок:

— Да я буду рад и счастлив, как только ты уберешься на свою гребаную, насквозь проссанную гору!

Яркая выразительность этого заявления оказывается несколько подпорченной тем, откуда раздается ее ответ — голос снова звучит от столика в углу палаты:

— Я с тобой не совсем еще покончила. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы ты учел, как тебе повезло, что я не попросила папочку устроить тебе обширное кровоизлияние в мозг. Не стану уделять внимание твоему издевательскому скептицизму и стремлению высмеять все, что я отстаиваю. Я полагаю, что при весьма поверхностном уровне твоего интеллекта и общей клинической картине вряд ли возможно винить тебя за то, что ты весь пропитан дешевым иконоборческим духом бесталанной и саморазрушительной культуры.

— Да тебе же нравилось все это — до малейшей детали!

— Нет, Майлз. Если мне и удалось создать у тебя подобную иллюзию, то лишь потому, что я хотела тебя испытать. Посмотреть, каких глубин можешь ты достичь в своем падении. В тщетной надежде, что ты вот-вот воскликнешь: «Довольно! Я не могу касаться священных тайн!»

— Господи, попалась бы ты сейчас мне в руки!

— Главное, чего я не могу тебе простить, — это неблагодарность. Я уже давно не проявляла к своим пациентам такого интереса, как к тебе. А если говорить о художественной стороне дела, я просто из кожи вон лезла, чтобы, вопреки собственным естественным склонностям, приспособиться к твоему тяжкому, спотыкающемуся, буквалистскому воображению. Теперь, когда этот эпизод подошел к концу, могу признаться, что абзац за абзацем заставляли меня издавать молчаливый вопль: да неужели здесь не появится хоть малейший признак маскирующей метафоры?

— Я тебя сейчас убью!

— И когда я наконец исчезну навеки — а это может произойти с минуты на минуту, — я хочу, чтобы ты запомнил, как упустил единственный в жизни шанс. Вместо этого, Майлз, я сейчас сидела бы у тебя на коленях. Между прочим, я могла бы даже поплакать немножко, чтобы ты почувствовал себя таким сильным, настоящим мужчиной и всякое такое. Если бы ты подошел ко мне с должным вниманием, поухаживал бы за мной, как надо... ведь я вовсе не похожа на ту карикатурную, одержимую старуху пуританку, которую ты втащил сюда без всякой необходимости. Твои утешительные ласки переросли бы в эротические, я не стала бы противиться тому, что ты воспользовался бы моим настроением... в подобных обстоятельствах это было бы вполне правдоподобно, и мы оба, совершенно естественно, оказались бы в положении, удовлетворяющем нас обоих. И это выразалось бы словом «любовь», Майлз, а не тем отвратительным техническим термином, который употребил ты. Мы слились бы в одно целое, нежно и страстно прощая друг друга. Весь эпизод этим и закончился бы, последняя сцена могла бы стереть все ранее нагроможденные нелепости. Но — не вышло. А ведь мы могли бы... твоя гордая мужественность в глубочайшем единении с моей самозабвенно отдающейся женственностью вызвала бы на моих глазах новые слезы, на этот раз — слезы плотского наслаждения.

— О Боже мой!

— Представь только наши слившиеся в предельной близости тела, ожидающие вечной кульминации! — Голос умолкает, словно осознав, что слишком высоко взлетел в своих лирических пропозициях; затем продолжает несколько более умеренно: — Вот что ты разрушил. Теперь это — за пределами возможного. Навеки.

Он мрачно смотрит в тот угол, откуда раздавался голос.

— Поскольку я больше не способен тебя визуализировать, я не могу даже представить себе, что я такое упустил. — Подумав, добавляет: — А что касается ожидания вечной кульминации, это больше напоминает обыкновенный запор, чем что-нибудь иное.

— Ты просто невообразимо лишен всякого воображения! И всяких чувств к тому же.

Теперь он скрещивает на груди руки и, с рассчитанным коварством, устремляет взгляд на пустой стул возле углового столика.

— Впрочем, к твоему сведению, я все еще помню ту темнокожую девушку.

— Не желаю о ней даже и упоминать! И вообще, с самого начала эта идея была совершенно излишней.

— И как здорово она тебя переплюнула. Что касается внешности.

— Как же ты можешь судить? Ведь ты забыл, как я выгляжу!

— Процесс дедукции. Если она была такая, то ты должна была бы быть иной.

— Но одно вовсе НЕ следует из другого!

Он откидывается назад, опираясь на локоть.

— Я все еще ощущаю ее прелестную темно-смуглую кожу, ее тело — такое жаркое, плотно сбитое, с такими роскошными формами... Она была просто потрясающая. — Он улыбается пустому стулу в углу палаты. — Из чего, боюсь, я должен заключить, что ты, видимо, довольно толста и лицо у тебя одутловатое. Разумеется, это не твоя вина. Уверен, психиатрия — профессия не очень-то здоровая.

— Ни секунды не желаю слушать все эти...

— А ее губы! Словно цветок джакарранды. Твои-то, видно, пахли греческим луком или чем-то еще в этом роде. Все возвращается... я вспоминаю, было совершенно чудесное ощущение, что она и вправду этого хочет, что нет ничего запретного, что все будет принято... Она была словно великий джаз, Бесси Смит⁹⁴, Билли Холидэй...⁹⁵ Думаю, впечатление, которое оставила ты, кем бы ты ни была, — это прежде всего ханжеская боязнь собственного тела, вечная неспособность отрешиться, отдать всю себя, просто еще одна холодная как рыба интеллектуалка; типичная белая американка, родом из первых поселенцев, дама протестантского вероисповедания, язвительная, как оса, и абсолютно фригидная, даже если ее вообще кто-нибудь когда-нибудь и...

Руку он увидеть не смог, но пощечина была вполне реальной. Он прикладывает собственную ладонь к пострадавшей щеке.

— Ты вроде бы говорила что-то про психолога-клинициста?

— Но я ведь еще и женщина! Свинья ты этакая!

— Я думал, ты уже ушла.

Голос раздается от двери:

— Почти. Но прежде, чем уйти, должна заявить тебе, что ты — самый абсурдный из всех самонадеянных мужчин, с которыми я когда-либо имела дело. Бог Ты мой, и у тебя еще хватает наглости... самое главное, чего вы, вселенские петухи-задаваки, так и не сумели усвоить, — это что свободную женщину в сексе обдурить невозможно. Я бы тебя не включила и в первые пятьдесят тысяч мужиков — даже здесь, в Англии, в стране, чьи мужчины — если говорить о постели — занимают в мире самое заднее место, просто славятся этим задним местом — в буквальном смысле слова. Мне это было видно с первой минуты нашей встречи. Ты просто зашелся бы от счастья, если бы я была моряком или хористом из хора мальчиков. — На миг в комнате воцаряется тишина. — Темнокожая девушка! Смех да и только! А с кем, по-твоему, ты сейчас разговариваешь? Серьезно? Кто, по-твоему, была Смуглая леди сонетов? Это только для начала. И речь не только о Шекспире. Мильтон. Рочестер⁹⁶. Шелли. Человек, создавший «Будуар»⁹⁷. Китс. Г. Дж.Уэллс. — Голос замирает на пару мгновений, потом звучит вновь, уже не так взволнованно. — Я даже как-то провела дождливый вечер с Т. С. Элиотом⁹⁸.

— Где же это?

Помешкав, голос отвечает:

— В Лондоне. Только ничего не вышло.

— Почему?

— Это совершенно к делу не относится. — Он не произносит ни слова. — Ну если тебе так уж необходимо знать, по какой-то совершенно нелепой причуде он переоделся клерком из бюро по продаже домов. Надел идиотскую шляпу, одолженную у текстильного миллионщика. Мне было скучно, я устала, а он, откровенно говоря... ну это не важно. В конце концов, весь раскрасневшись, но по-прежнему нерешительно, он на меня набросился. И на прощание поцеловал — весьма снисходительно. Уверена, ты бы тоже так сделал, если бы я дала тебе хоть малейшую возможность. Не надейся и не жди.

— Слушай, почему бы тебе не взяться писать мемуары? Очень советую.

— Одно могу тебе сказать. Если я бы и взялась их писать, то лишь для того, чтобы поведать правду о таких, как ты. Если хочешь знать, отчего ты абсолютный ноль в сексе и почему обаяния у тебя как у корзины с грязным бельем, так это потому, что — подобно всем мужикам твоего склада — ты ни на йоту не приблизился к пониманию женского интеллекта. Все вы думаете, что мы только и способны падать к вашим ногам, раскрыв...

— Продолжай, продолжай! — Он садится прямо. — Всего минуту назад ты...

— Как характерно! Типичный аргумент из полицейского досье, который так обожает моя старшая сестрица-ханжа. Если она чувствовала это вчера, то должна чувствовать то же самое и сегодня. Что же такое, по-твоему, освобожденность?

— Во всяком случае, не логика. Это уж точно.

— Так и знала, что ты это скажешь. А тебе, с твоим жалким мужским умишком, никогда не приходило в голову, что логика — как ты это называешь — всего-навсего эквивалент психологического «пояса невинности»? К чему, по-твоему, пришел бы весь этот мир, если бы мы все, от начала начал, рядились в одну лишь логику и больше ничего не знали? Так и ползали бы в том до тошноты надоевшем саду. Пари держу, этот слюнтяй всех веков и народов и есть твой самый любимый герой. Свел жену с ума скукой домашнего существования. Не позволял ей даже тряпки себе покупать время от времени. Да любая женщина тебе скажет, чего тот змей добивался. Просто он с задачей не справился.

— А не могли бы мы вернуться к конкретной теме? Всего минуту назад ты...

— Я пыталась вдолбить в твою тупую голову, что я не просто стала для тебя невидимой, я всегда была для тебя невидимой. Все, что ты видел во мне, было лишь тем, что тебе хотелось видеть. Метафорически же все, что ты видел, сводилось вот к этому.

Неожиданно и странно, на расстоянии примерно трех футов от двери, футах в пяти над полом, в воздухе возникает поднятый вверх изящный мизинец; но почти в тот же момент, как он успеваешь его разглядеть, мизинец исчезает.

— Ну, я могу представить себе другую часть твоего анатомического строения, которая гораздо ярче — просто чертовски ярко! — могла бы выразить твою суть. В Древней Греции она называлась «дельта».

— Отвратительная дешевка!

— Зато точно.

— Запрещаю тебе говорить. Ни слова больше! Кто ты такой? Разложившийся наемный писака десятого разряда. Недаром «Таймс» в «Литературном приложении» пишет, что ты — оскорбление, брошенное в лицо серьезной английской литературе.

— А я, между прочим, считаю это одним из величайших комплиментов в свой адрес!

— Еще бы! Ведь это единственное признание твоей исключительности!

Молчание. Он снова откидывается на локте, опускает глаза, разглядывает кровать.

— По крайней мере ты все-таки кое-что для меня сделала. Я смог осознать, что эволюция совершенно сошла с ума, который и так-то был у нее далеко не в лучшей форме, когда вовлекла женщин в эволюционный процесс.

— И извлекла тебя из лона одной из них.

— За что вы вечно отыгрываетесь на нас, устраивая в отместку низкие и злобные трюки.

— А вы — невинные и белокрылые, славные своим неприятием насилия мужчины, ни сном ни духом ни о чем таком и представления не имели!

— Пока вы нас не обучили.

— Не молчи. Продолжай, не смущаясь. За тобой плотными рядами стоят твои сторонники с диагностированной и сертифицированной мужской паранойей.

Он грозит вытянутым пальцем в сторону двери:

— Вот что я тебе скажу. Даже если бы Клеопатра, твоя тетка с Кипра, и Елена Троянская вместе воплотились в тебе одной и стояли бы там, возле двери, я бы на тебя и смотреть не стал не то чтобы тебя коснуться!

— Тебе незачем беспокоиться! Я скорее предпочла бы, чтобы меня стая орангутанов изнасиловала!

— Меня это вовсе не удивляет.

— Мне приходилось встречать всяких презренных...

— А также бедных долбанных орангутанов!

Молчание.

— Если ты хоть на миг вообразил себе, что это тебе так вот сойдет...

— А если ты думаешь, что я не согласился бы лучше не знать ни одной буквы алфавита, чем снова оказаться с тобой в одном помещении...

— Если бы ты даже пополз на коленях отсюда прямо в вечность, моля о прощении, я ни за что тебя не простила бы.

— А если бы ты поползла на коленях отсюда сюда, я тебя тоже не простил бы.

— Я тебя ненавижу!

— И вполовину не так сильно, как я тебя.

— Ну уж нет! Ведь я способна ненавидеть как женщина.

— Которая ни одну мысль в голове не может удерживать дольше, чем на пять минут.

— Нет может. Про такое дерьмо, как ты.

Он вдруг улыбается, опять садится на кровати совершенно прямо и засовывает руки в карманы халата.

— Я раскусил твою игру, милая моя женщина.

— Не смей называть меня твоей милой женщиной!

— Я прекрасно знаю, почему ты на самом деле стала невидимой.

Снова наступает молчание. Он легонько и чуть насмешливо манит ее пальцем:

— Ну иди, иди сюда. Я же знаю — ты не сможешь устоять перед яблоком. Хоть ты всего лишь архетип.

В комнате по-прежнему царит тишина. Наконец от двери звучит краткий вопрос:

— Почему?

— Потому что, если бы ты не была невидимой, я обвел бы тебя вокруг самого маленького моего пальца в считанные минуты. — И он поднимает вверх собственный мизинец.

С минуту в комнате стоит напряженная тишина; затем от двери раздается звук, не поддающийся передаче с помощью алфавита — греческого ли, или английского, не важно: что-то вроде «урргхх» или «арргхх», одновременно очень глубокого и более высокого тона; может показаться, что кому-то медленно режут горло или у кого-то выжигают душу; что чье-то терпение выходит за пределы всяческого терпения, боль — за пределы нестерпимой боли. Звук раздается близко, но в то же время будто бы исходит из самых дальних глубин вселенной, исторгнут из запредельной и в то же самое время глубочайшей внутренней сути одушевленного существа, из самой сути его страдания. Будь здесь третий слушатель, особенно из тех, кто знаком с не очень-то оптимистической теорией касательно природы космоса, то есть с идеей, что в один прекрасный день наступит коллапс вселенной, спавшейся от ужаса перед собственной, постоянно повторяющейся глупой тщетой, этот звук показался бы ему не только вполне оправданным, но и берущим за душу. Однако мужчина на кровати меж простеганных серых стен совершенно явно и несколько цинично забавляется, не испытывая никаких особых чувств по поводу этого то ли стоны, то ли предсмертного хрипа, спровоцированного им самим.

Что только не могло бы за этим последовать... но то, что последовало, вылилось в гораздо более банальный, хотя и совершенно неожиданный звук. Внезапно из дотоле молчавших часов с кукушкой, висящих в углу на стене, раздается хриплое жужжание, пощелкивание шестеренок и регуляторов хода. Этот шум, правда нелепо затянувшийся и абсурдно суетливый, явно предвещает какое-то важное событие. И оно наконец происходит: крохотный швейцарский оракул появляется из деревянной машины и выкрикивает свою чудодейственную весть.

При самом первом «ку-ку» доктор Дельфи снова становится видимой. Она стоит у двери в белом халате, руки ее еще не успели опуститься — они всего на пару дюймов ниже ее головы, которую явно только что сжимали в порыве отчаяния. Но сейчас она уже смотрит на часы в углу с выражением удивленного восхищения — так мог бы смотреть ребенок, услышав звонок, знаменующий конец урока; при втором «ку-ку» она обращает лицо к Майлзу Грину, который поднялся с кровати и импульсивно протягивает к доктору Дельфи руки; при третьем «ку-ку» оба они большими шагами устремляются друг к другу, запинаясь о старый розовый ковер, а при четвертом — если бы оно раздалось — они сжимают друг друга в объятьях.

— О дорогая!

— Мой дорогой!

— Дорогая!

- Дорогой!
- Дорогая!
- О мой дорогой!

Эти столь похожие на кукование слова и фразы все же лишены приятной ритмичности и быстроты, свойственных настоящему, умудренному долгим опытом голосу часов; к тому же требуется больше времени, чтобы их произнести, чем прочесть, поскольку они звучат больше как сдавленные вздохи, чем слова, и перемежаются множеством лихорадочных, затяжных и вроде бы ненасытных поцелуев. Наконец она отворачивает голову, хотя тела их по-прежнему сплетены друг с другом, и произносит уже более связно:

- Я думала, они остановились.
- Я понимаю.
- О Майлз, кажется, целая вечность прошла.
- Я знаю... Честно, я ничего такого не имел в виду...
- Дорогой, я понимаю. Это я во всем виновата.
- Я тоже очень виноват.
- Нет не виноват.
- Моя дорогая!
- О дорогой!
- Я люблю тебя.
- И я тебя.
- Ради всего святого, пусть эта дверь исчезнет.
- Да, да, конечно.

Она поворачивает голову и смотрит на дверь. Та исчезает. И снова они целуются, а затем падают на ковер.

— Мой милый, мой бедняжка, ангел мой, смотри, какой большой... нет, нет, погоди, я сама, не то все пуговицы оборвешь.

И наступает тишина.

— Милая моя, дорогая....

И снова тишина.

— Ты просто чудовище... как я люблю, когда ты....

Тишина. И вот что-то странное начинает происходить вокруг, хотя двое на потертом ковре слишком погружены в себя, чтобы заметить это. Какая-то дымка едва заметно, словно крадучись, проникает в комнату и окутывает серые стеганные стены. Вскоре становится очевидно, что они быстро и совершенно необъяснимо утрачивают свою субстанцию и текстуру, да и всякую твердость вообще. На месте ткани и мягкой набивки возникает какой-то туман, будто бы сумерки; сквозь туман или, точнее, внутри тумана виднеются странные, сюрреалистические формы, они движутся, словно тени, видимые сквозь матовое стекло или наблюдаемые в сумеречных океанских глубинах через иллюминатор батисферы.

— Как хорошо... Еще!

И снова молчание.

— О Майлз! Я умираю...

Молчание. И почти сразу:

— Нет, не останавливайся! Еще...

Если бы только глаза их были открыты, они смогли бы увидеть, что предательские стены изменяются теперь еще быстрее, в темпе крещендо, совпадающем с темпом их собственных движений; теперь они словно сделаны из сплошного прозрачного стекла, не пропускающего лишь звуки. И — о ужас, ужас! — вокруг палаты, превратившейся в стеклянный ящик, в подобие прямоугольного парника, в ночной мгле, нарушаемой лишь рассеянным светом, пробивающимся из комнаты, появляются нестройные фаланги пациентов и тех, кто их обслуживает: больные в халатах, сестры и нянечки обоих полов, уборщики, швейцары, врачи

палатные и специалисты, сотрудники всех мастей; они теснятся ближе и ближе, оставляя свободной лишь одну из стен; вот уже их первые ряды прижаты вплотную к стеклу, призрачные лица за бортами аквариума, по ту сторону прозрачной стены. Они стоят там, молчат и смотрят печально и похотливо — так обездоленные взирают на тех, кому выпала счастливая доля, или голодные, сквозь ресторанные окна, глядят на кормящихся и кормящих. Единственное, что остается укрытым от чужого внимания, святым и неприкосновенным, — это слово. Правда, в комнате сейчас звучат уже не слова, а их фрагменты, обрывки алфавита.

Снаружи, в паре шагов от того места, где находилась дверь, стоит невозмутимая и грозная фигура очкастой старшей сестры, на ее лице не видно ни голода, ни похоти, лишь некий психологический эквивалент ее жестко накрахмаленной униформы. По обеим сторонам от нее — ряды лиц, но вокруг — пустота, словно в чашку с культурой бактерий капнули антисептик. Ничей взгляд не загнипнотизирован происходящим так, как ее. Глаза ее следят за теми двумя с таким напряжением, что даже сверкают. Лишь однажды она отводит взор, чтобы обозреть зловещим молниеносным взглядом ряды молчащих лиц слева, справа и напротив собственного лица. Так могли бы, оценивая, взирая на посетителей своих заведений алчный директор театра или мадам — хозяйка борделя. Она УВИДЕЛА, как и угрожала, но пределы ее восприятия ограничены — она способна видеть, но не способна чувствовать.

Все кончено; ничего не замечающие двое теперь лежат, обессилив, бессознательно повторяя позу самого первого, строго клинического своего совокупления: пациент на спине, а врач у него на груди, уронив голову ему на плечо; однако на этот раз их руки нежно сжимают друг друга, пальцы тесно сплетены. Их немые зрители еще несколько мгновений наблюдают, но вдруг, словно наскучив ожиданием и недовольные их неподвижностью, прекращением действия, отворачиваются и, запинаясь и шаркая, исчезают, истаивают во тьме забвения. Только сестра не двигается с места. Скрестив на груди пухлые руки, она по-прежнему пристально смотрит в комнату: пусть более слабые души истаивают во тьме, но она — она никогда не изменит своему долгу, обязанности подглядывать, осуждать, ненавидеть и порицать все плотское.

Это оказывается слишком даже для стен. В сто раз быстрее, чем стали прозрачными, стены переживают обратную метаморфозу. Сестра поражена, от неожиданности она пытается сделать шаг вперед, с минуту еще можно видеть ее возмущенное, расстроенное лицо и ладони, прижатые к мутнеющему стеклу, словно она готова скорее проломить преграду, чем вот так лишиться своей добычи. Напрасно: не понадобилось и десяти секунд, чтобы после недолгого отклонения от нормы теплые стены из защищающих и поощряющих девичьих грудок, пусть даже несколько однообразных и не того цвета, возвратились на место. Все внешнее снова исчезает.

IV

Deux beaux yeux n'ont qu'a parler.

Manvauх La Colome⁹⁹

Богом клянусь, поговорить она умеет! Конечно, она побольше на свете повидала, чем ты да я в том-то и секрет.

Фланн О 'Брайен У Двух Лебедей¹⁰⁰ (с небольшими изменениями)

Майлз Грин открывает глаза и устремляет взор вверх — на церебральный купол потолка. Думая — если говорить правду и пытаться сохранить хотя бы малую толику подобия мужской психологии — вовсе не о юной греческой богине, покоящейся сейчас в его объятьях, вечно прекрасной, страстной, дарящей и принимающей дар, но о том, что, если попробовать осуществить немислимое и описать этот потолок из нависающих над ними сереньких грудок, ради точности описания потребовалось бы употребить весьма редкое слово «мосарабский»¹⁰¹; это в свою очередь уводит его мысль в альгамбру¹⁰², а оттуда — к исламу он целует волосы лежащей рядом с ним гурии.

— Дорогая, прекрасно сделано. Было очень интересно.

Она целует его в плечо:

— Мне тоже, дорогой.

— Пока еще не самый интересный вариант, но все же...

Она снова целует его в плечо.

— Тут есть определенные возможности.

— Сегодня ты просто превзошла себя в некоторых эпизодах.

— Так ведь и ты тоже, милый.

— Правда?

— Этот твой новый смэш слева... чтобы гонорары мне выплачивать.

— Просто рефлекс.

— Это было прелестно. — Она целует его в плечо. — Я была в восхищении. Могла бы прикончить тебя на месте.

Он улыбается, не сводя глаз с потолка, и привлекает ее к себе чуть ближе:

— Умненькая-разумненькая доктор Дельфи.

— Умненький-разумненький Майлз Грин.

— Идея была твоя.

— Но без тебя мне ее было никак не осуществить. Всю жизнь ждала кого-нибудь вроде тебя.

Он целует ее в волосы.

— Мне так ярко помнится тот вечер. Когда ты впервые появилась.

— Правда, милый?

— Я сидел, стучал на той идиотской пишущей машинке.

— Вычеркивая по девять слов из каждых десяти.

— Застряв на той чертовой героине.

— Дорогой, просто она ведь была не я. А я была жестокой, чтобы сделать доброе дело.

Он поглаживает ее по спине.

— И вдруг смотрю — ты! Во плоти! Сидишь себе на краешке моего стола.

— А ты чуть со стула не свалился от удивления.

— А кто бы удержался?! Когда такое ослепительное создание вдруг возникает ниоткуда. И заявляет, что явилась сделать мне предложение.

Она приподнимается на локте и сверху вниз усмехается ему:

— На что ты отвечаешь: «Какого черта! Что это такое вы о себе вообразили?»»

— Я был несколько ошарашен.

— А когда я тебе все объяснила, ты сказал: «Не говорите ерунды, я вас в жизни не видел». —

Она склоняется к нему и легонько касается губами его носа. — Ты такой был смешной!

— Да я и вправду не мог этому поверить. Пока ты не сказала, что тебе до смерти надоело прятаться за спинами всех выдуманных женщин. Вот тогда я и начал понимать, что мы работаем на одной волне.

— Потому что тебе самому до смерти надоело их выдумывать.

Он улыбается ей — снизу вверх:

— Ты по-прежнему здорово это делаешь. Невероятно убедительно.

— Ведь это от всего сердца.

Он целует ей запястье.

— Так чудесно — наконец обрести кого-то, кто понимает.

Она с притворной застенчивостью опускает взор долу:

— Дорогой, ну кто же, как не я?

— Как надоела писать... а еще больше — публиковать написанное!

Она нежно улыбается ему и задает наводящий вопрос:

— И следовательно...

— Вот если бы мы могли отыскать совершенно невозможный...

— Не поддающийся написанию...

— Не поддающийся окончанию...

— Не поддающийся воображению...

— Но поддающийся бесконечным исправлениям...

— Текст без слов...

— Тогда наконец-то мы оба могли бы стать самими собой!

Она наклоняется и целует его.

— И что же в конце концов?

Он смотрит в потолок, словно на него снова снизошел прекрасный миг абсолютного озарения.

— Проклятье художественной литературы.

— А именно?

— Все эти нудные куски текста меж эротическими сценами. — Он вглядывается в ее глаза. — Это был решающий довод. Тут-то я и понял, что мы созданы друг для друга.

Она снова роняет голову ему на плечо.

— А я забыла, что я тогда сделала.

— Ты сказала: «Господи, так чего же мы ждем?»»

— О Майлз, я не могла быть настолько бесстыдной!

— Очень даже могла!

— Мой милый, я ни с кем не была вот так, по-настоящему, самой собой, чуть ли не целых семнадцать веков. С тех самых пор, как появились эти кошмарные христиане. Все другие писатели, которых я тебе успела назвать... да они и на милую ко мне — настоящей — приблизиться не смогли. Ты — первый, правда-правда, знаешь, с каких пор... после этого... как его... не могу вспомнить, как его звали. Просто я не могла ждать ни минуты дольше. — Она вздыхает. — А ты починил ту несчастную узенькую оттоманку?

— Так и оставил ее со сломанными ножками — как сувенир.

— Дорогой мой, как мило с твоей стороны!

— Это самое малое, что я мог сделать.

Она целует его в плечо.

Минуту-другую они лежат молча, тесно прижавшись друг к другу на ковре цвета увядающей розы. Потом он проводит рукой вдоль ее спины — шелковистая гладкая кожа, словно теплая слоновая кость, — и прижимает ее к себе еще теснее.

— Пари держу, что все-таки смогли.

Она отрицательно качает головой:

— Я же всегда пряталась за кем-нибудь другим!

— Вроде Смуглой леди сонетов. — Он целует ее волосы. — Ты раньше никогда об этом не упоминала.

— Ну... на самом деле эти отношения были не очень-то счастливыми.

— Будь хорошей девочкой. Выкладывай!

Полусмеясь-полусмущенно она шепчет:

— Майлз, это же очень личное.

— Да я ни одной живой душе не скажу.

Она с минуту колеблется.

— Ну... Одно могу сказать. Кем бы он ни был на самом деле, но Лебедем Эйвона¹⁰³ он не был никогда.

Он поворачивается к ней, взволнованно и удивленно:

— Ты что, хочешь сказать, что все это написал-таки Бэкон?¹⁰⁴

— Вовсе нет, дорогой. Я хочу сказать, что единственное воспоминание о прошлом, которое ему так никогда и не удалось вызвать в собственной памяти в часы молчаливого раздумья, было о такой элементарной вещи, как ванна. Вот я и вышла из всего этого такой отстраненной. Откровенно говоря, я только и могла выдержать все это, если находилась на таком расстоянии от него, чтобы перекрикиваться можно было. Помню, я как-то встретила его на Старом Чипсайде¹⁰⁵, он шел, хлопывая себя ладонью по лысине и без конца повторяя одну и ту же строку... просто не мог придумать следующую. Пришлось просто прокричать ему новую с другой стороны улицы... я остановилась около девчонки, торговавшей лавандой, — надо же мне было как-то оберечь себя.

— Какая же это была строка?

— «Не знаю я, как шествуют богини...»¹⁰⁶

— И что же ты ему крикнула?

— «От вас несет, как от свиньи в мякине!» Или как там выражались в елизаветинские времена.

Он улыбается:

— С тобой не соскучишься!

— Да все они одинаковые! Если бы историки литературы не были такими злыднями, они давным-давно поняли бы что у меня был ужасно тяжелый период между Римской империей и изобретением внутреннего водоснабжения.

Он некоторое время молчит.

— Если бы только я с самого начала понял, что ты — настоящая — ничего не принимаешь всерьез.

Ее рука скользит к низу его живота.

— Так-таки — ничего?

— Кроме этого.

Она щиплет его за складочку кожи у пупка.

— Я всего лишь такая, какой хочешь видеть меня ты.

— Тогда, значит, это — не реальная ты.

— Это — реальная я.

— Тогда ты можешь рассказать мне правду про Смуглую леди.

— Мой милый, да она тебе нисколечко не понравилась бы. Она была точно как сестра Кори.

— Что — буквально? Физически похожа на сестру Кори? Не может быть!

— Как вылепленная. По странному совпадению.

И опять он поворачивается к ней в сильнейшем удивлении:

— Эрато, ты не... ты надо мной не смеешься?

— Разумеется, нет, Майлз. — Она поднимает глаза и встречается с ним взглядом. — Я очень рада была бы над тобой посмеяться.

Он роняет голову на ковер и устремляет глаза в потолок:

— Господи, Боже мой! Черная!

— Мне казалось, мы с тобой остановились на шоколадно-коричневой, дорогой.

— И ты не была против?

Она вздыхает:

— Дорогой, ну конечно же я пошутила. Про то, как шла по Старому Чипсайду. Просто я была чем-то у него в мозгу. Просто это что-то в его мозгу удивительно похоже на что-то в твоём. Разница только в том, что ты не хочешь оставить его там.

Я не имею в виду только тебя лично: все вы, сегодняшние, этого не хотите. Все должно быть «реальным», «настоящим», иначе оно просто не существует. Ты же прекрасно знаешь, что реальная «настоящая я» — это я воображенная. Я реальна в твоём смысле слова потому, что ты хочешь этого. Именно это я и имела в виду пару минут назад.

— Но ведь это именно ты явилась и вполне реально сидела на моем письменном столе в самый первый раз.

— Дорогой, мне просто хотелось посмотреть, как это — быть по-настоящему реальной. Естественно, надо было выбрать — для кого стать реальной. Столь же естественно, что я выбрала тебя. Вот и все дела. Если смотреть на вещи реально.

Несколько секунд они лежат молча. Потом он слегка отодвигается:

— Может, теперь положим на кровати?

— Конечно, милый.

Она поднимается и помогает подняться ему. Они нежно обнимают друг друга, губы к губам, идут — рука в руке и удобно устраиваются на кровати в той же самой позиции: ее голова у него на плече, его рука обвивает ее плечи, ее правая нога закинута на его ноги. Он произносит:

— Совсем забыл, какой из не поддающихся написанию вариантов это был.

— Двадцать девятый.

— А я думал, тридцатый.

— Нет, дорогой. Это же второй после двадцать седьмого, а двадцать седьмой был тот, где ты заставил меня... — Она теснее прижимается к нему. — Ну, сам знаешь. Ты жестокий-жестокий.

— Ты хочешь сказать, когда ты заставила меня заставить тебя...

— Ш-ш-ш...

Она целует его плечо. Часы удовлетворенно тикают, вынашивая очередное «ку-ку». Мужчина на кровати произносит, обращаясь к потолку:

— Ни за что бы не поверил. Как мы с тобой делаем это все более невозможным от раза к разу.

— Я же тебе говорила. О маловер!

— Я помню, дорогая. — Его рука скользит вниз по ее нежной спине, потом легонько похлопывает. — Ты и сестра Кори.

Она опять небожно щиплет его за складочку кожи.

— Я как сестра Кори.

— У тебя так здорово этот образ получается. Я все время забываю, что ты и она — одно и то же существо. — Он целует ее волосы. — С тех самых пор, как она, то есть, я хочу сказать, ты... фантастика! Вовсе не удивительно, что старик Уильям... ведь когда ты пускаешься во все тяжкие... И вовсе не удивительно, что он так рано облысел, если все это происходило у него в голове!

— Конечно в голове, милый.

Он нащупывает ее правую ладонь. Их пальцы переплетаются. Теперь они лежат молча, погруженные в воспоминания.

— Вот что мне показалось неверным сегодня. Я хочу сказать, всего два раза. Мы же не можем считать interruptus¹⁰⁷. — Она не отвечает. — В среднем у нас бывает три, правда ведь?

— На самом деле, с рецидивами, три и три десятых, дорогой.

— Два раза — это не очень хорошо.

— Ну, мы же можем это компенсировать.

— Все дело в литературных кусках. Когда мы на них застреваем, мы забываем о самом существенном.

— Мой дорогой, мне не хочется тебе противоречить, но, если учитывать, кто я такая, я не могу совершенно от них отказаться.

— Ангел мой, я понимаю — ты не можешь. Просто...

— «Просто» — что, дорогой?

Он поглаживает ее спину.

— Честно говоря, я думал об одной из твоих сегодняшних вариаций. — Он похлопывает ее пониже спины. — Разумеется, она была выстроена весьма умело, как всегда. Но я не мог не задуматься, соответствует ли она контексту.

— Какую из вариаций ты имеешь в виду?

— Когда ты притворилась психоаналитиком. Вся эта ерундистика про мой вуаеризм и эксгибиционизм. Если откровенно, я тогда же решил, что это — перехлест. В данных обстоятельствах. И самую малость похоже на удар ниже пояса. Особенно там, где ты толкуешь про пристрастие к матери.

Она приподнимается на локте:

— Но, Майлз, дорогой мой, кто же совсем недавно говорил, что готов прямо-таки съесть мои груди?

— Зачем же нам прибегать к таким далеко идущим выводам лишь из-за того, что в виде сестры Кори ты завела себе пару потрясающих титек?

— Только в виде сестры Кори?

— Да нет конечно. — Он касается рукой тех, что сейчас так близки к нему. — В виде вас обеих.

— Майлз, я слышала это совершенно четко. Ты сказал «в виде сестры Кори».

— Оговорился.

Она опускает взгляд на собственную грудь:

— Если честно, не вижу никакой разницы.

— Любимая, и в самом деле, никакой существенной разницы нет.

Она поднимает голову:

— Как это — «существенной»?

— Только в крохотных нюансах. Да и потом, не можешь же ты ревновать к самой себе? Просто в ее образе ты самую малость повнушительней и посмелее. Кажешься еще более бесстыдной и вызывающей, чем есть. — Он протягивает руку и ласково гладит предмет дискуссии. — Твои нежнее и утонченнее. Изысканнее. — Она снова изучает их нежную изысканность, но теперь с некоторым сомнением во взгляде. — Дай-ка я их поцелую.

Она ложится, снова опустив голову ему на плечо.

— Все это не важно.

— Ты тщеславная глупышка.

— Теперь я жалею, что позволила тебе уговорить меня принять образ чернокожей девушки.

— Ну, моя дорогая, мы же договорились. Мне и правда необходимо, чтобы ты являлась еще и в другом образе хотя бы затем, чтобы я мог вспомнить, как божественно ты выглядишь в собственном. В любом случае главное мое соображение заключается в том, что, как бы ни соблазнительно было обвинять меня в инцесте и прочих грехах, у нас с тобой есть масса более важных вещей, которыми следует заняться. У нас сегодня были длиннющие периоды, где нет ни малейшего намека на секс. Порой я чувствую — мы утрачиваем всякое представление о приоритетах. Нам следует вернуться к духу того совершенно замечательного времени, — где же это было, а? — когда мы почти ни слова не произносили.

— В номере восьмом.

— Он был так великолепно структурирован, весь такой плотный, серьезный, безостановочный — ну, ты понимаешь. Конечно, мы не всегда можем достичь таких высот, но все же...

— Кажется, я вспоминаю, что в том эпизоде была столь же долго сестрой Кори, как и самой собой.

— Разве, любимая? Совсем забыл. — Он похлопывает ее по спине. — Как странно. Поклясться мог бы — все время была только ты.

Воцаряется молчание. Эрато лежит, по-прежнему тесно к нему прижавшись. В ее позе изменилось лишь одно: теперь ее глаза открыты. На миг можно было бы предположить, что она затаила в душе обиду. Но очень скоро выясняется, что это предположение абсолютно иллюзорно, так как она вытягивает губы и целует то место у его плеча, где только что покоилась ее голова.

— Ты прав, дорогой, как всегда.

— Не надо так говорить. Лишь иногда.

— Дело в том, что я чувствую, как ты становишься все лучше и лучше, гораздо лучше меня — в умении быть невозможным.

— Чепуха.

— Нет, правда. У меня нет этой твоей интуитивной способности портить настроение. Не так-то просто этому научиться, если провела всю жизнь, пытаясь делать обратное.

— Но у тебя сегодня все просто чудесно получалось. Ты говорила такое, чего я, кажется, никогда не мог бы простить.

Она снова целует его в плечо и вздыхает:

— Я очень старалась.

— И преуспела.

Она прижимается еще теснее.

— Во всяком случае, это доказывает, как я была права, явившись к тебе с самого начала.

— Очень великодушно с твоей стороны, дорогая.

Она некоторое время молчит.

— Правда, я так никогда по-настоящему и не объясняла тебе почему.

— Ну как же, разумеется, объясняла. Раз двадцать, в периоды отдыха. Говорила, как тебе нравится моя чувствительность в отношении женщин, как ты обнаружила, что у меня проблемы с литературным творчеством... и всякое такое. — Она молча целует его плечо. Он смотрит в потолок. — Что, ты хочешь сказать — была какая-то другая...

— Да нет, ничего, милый.

— Ну скажи же.

— Только не обижайся. — Она гладит ладошкой его грудь. — Знаешь, оттого, что я теперь чувствую, как мы близки... Мне не хочется, чтобы у меня были от тебя хоть какие-то тайны.

— Давай выкладывай.

Она снова прижимается тесней.

— Понимаешь, я не думаю, что ты мог хоть когда-нибудь представить себе, как привлекательны твои проблемы с литтворчеством были... и есть... для женщины вроде меня. — Ее пальчики гладят его правый сосок. — Я никогда тебе этого не говорила, Майлз, но я ощутила это во время самой первой встречи с тобой. Разумеется, ты и понятия не имел, что это я, я пряталась за той, которую ты тогда пытался вообразить. Но, мой дорогой, я все время внимательно за тобой наблюдала.

— И что же?

— И я подумала, слава богам, вот наконец-то нашелся мальчик, которому никогда не удастся ничего сделать, пытайся он хоть тыщу лет. Да к тому же он и сам наполовину уже понимает это. И весь период твоего созревания, все то время, что расшибал себе лоб о стену, выдавливая эти свои... мой дорогой, как это трудно... я же знаю, у тебя были самые добрые намерения и ты

очень старался, а я и правда пыталась помочь, но давай все же взглянем правде в глаза, это были отчаянные и безнадежные, совершенно бесплодные попытки дать мой точный портрет... все это поистине ужасное для меня время я не теряла веры в тебя. Потому что знала: в один прекрасный день наступит озарение и ты осознаешь, что твои попытки столь же бессмысленны, как попытки человека с одной ногой стать олимпийским атлетом. И тогда наконец-то произойдет то самое, великолепное и тайное, что только может произойти между нами. — Она на миг замолкает, потом издает негромкий смешок. — Ты был такой забавный в образе старшей сестры. Каждый раз она у тебя получается все лучше и лучше. Я чуть не рассмеялась вслух. — Он не произносит ни слова. — Майлз, ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Да. Прекрасно понимаю.

Что-то в его голосе заставляет ее приподняться на локте и взволнованно взглянуть в его лицо. Она поднимает руку и гладит его щеку.

— Мой дорогой, влюбленные должны быть откровенны друг с другом.

— Я знаю.

— Ты же только что был вполне откровенен со мной о сестре Кори. Я просто стараюсь отплатить тебе тем же.

— Понимаю.

Она треплет его по щеке.

— И ты всегда обладал поразительной неспособностью выразить себя. Это так привлекательно — много интереснее, чем обладать умением пользоваться словами. Мне кажется, ты себя ужасно недооцениваешь. Людей, знающих, что они хотят сказать, и умеющих сказать это, десяток на пени. Неспособность подобрать ключ к тому и другому — поистине бесценный дар. Ты почти уникал, единственный в своем роде. — Она внимательно его разглядывает, в глазах — нежное сочувствие. — Вот почему, если реально смотреть на вещи, я явилась, чтобы стать для тебя реальной, дорогой мой. Вот почему я чувствую себя с тобой в полной безопасности. Ведь я знаю, что, даже если когда-нибудь ты случайно — упаси тебя Боже... впрочем, я знаю, что ты таким шансом в жизни не воспользуешься, — надуешь меня, попытаешься описать все это, у тебя все равно ничего не получится, пытайся ты хоть миллион лет. Между прочим, я когда-то рассматривала кандидатуры других писателей, но ни один не дал мне ощутить столь же неколебимое чувство безопасности, какое даешь ты. — Она наблюдает за ним молча минуту-две, затем склоняется над ним, глаза ее до краев полны искренней заботы, губы застыли у самого его рта. — Майлз, ты же знаешь, раз ты такой, ты можешь иметь меня всегда, когда пожелаешь. — Она целует его в губы. — И как пожелаешь. А если бы все было иначе и ты мог бы записать все это, я никак не могла бы быть с тобой. Мне пришлось бы вернуться и снова превратиться в тень на лестничных клетках твоего мозга, в занудный старый призрак бога из машины, а я даже и подумать не могу о том, чтобы быть для тебя лишь мыслью. — Она снова его целует, но на этот раз губы ее едва касаются его губ. — А вот это у тебя получается гораздо, гораздо лучше, должна я сказать.

Последний долгий поцелуй, и она отстраняется, принимает прежнюю позу, прижавшись щекой к его плечу и закинув ногу на его ноги. Он говорит, пристально глядя в потолок:

— Между прочим, просто чтобы констатировать некий современный факт, очень многие считают...

— Дорогой, я знаю. И вполне понимаю, что ты скорее согласишься им, чем мне.

Он набирает в легкие побольше воздуха:

— Я полагаю, мне следует указать на то, что сама ты на самом деле никогда в жизни ни одной строчки не написала и не имеешь ни малейшего представления, как чертовски трудно...

— Дорогой... прости меня, пожалуйста. Есть еще одна, совсем незначительная деталь, которую я держала в секрете от тебя.

— Что еще?

— Ну... просто чтобы констатировать некий исторический факт: в самом начале, в течение нескольких веков после того, как вошел в обиход алфавит, у меня и у моих литературных сестер

были некоторые проблемы. Видишь ли, дорогой, его распространение происходило не так уж быстро. Разумеется, мы были еще совсем зелеными в искусстве вдохновения. Но казалось, что все вокруг просто глухие или слепые. Отчасти виновата была опять эта противная Клио¹⁰⁸. Она с самого начала занялась тем, чем и до сих пор занимается, — подлизывалась к персонам у власти, ко всяким знаменитостям. Помимо всего прочего, она просто беспардонная снобка. И все ей удавалось, потому что она утверждала, что алфавит — лучший друг сборщиков налогов и помогает приносить доходы в бюджет страны. Ну все только так к нему и относились. Хорошо-прекрасно, вот теперь мы прищучим уклоняющихся от уплаты дани. Алфавит использовался только для их идиотских записей... сколько быков, и горшков меда, и кувшинов вина, и «Уважаемый сэр, настоящим уведомляю, что я получил вашу не удовлетворившую меня глиняную табличку от десятого пред.»... ну ты знаешь. Так что всем остальным пришла в голову блестящая идея. Простым смертным, конечно, необходим пример, что-то такое, что могло бы показать, что не меньше денег и всяких дополнительных выгод могут приносить и литературные записи, а не только их занудные финансовые. Вот мы и договорились, что каждая из нас создаст образец на собственную тему, просто чтобы показать, как это делается. Короче говоря, Майлз, я разок все-таки кое-что нацарапала.

— И это кое-что, несомненно, весьма удобным образом исчезло во тьме веков?

— Нет, мой милый. Как раз на днях я видела один экземпляр в книжной лавке.

Он не сводит глаз с потолка.

— Ну рассказывай.

— Конечно, я писала под псевдонимом. И вещь эта утратила свое первоначальное название.

— Но мне хотелось бы знать.

— Первоначальное название? Такая жалость! Оно так подходило к моему сюжету. — Она опирается на руку и глядит на него сверху вниз. — Майлз, это, конечно, к тебе не относится, но на самом деле я озаглавила работу «Мужчины: повзрослеют ли они когда-нибудь?». Или — если коротко — просто «Мужчины». Ну как тебе? Правда, умно получилось?

Он бросает косо́й взгляд на ее оживленное, вопрошающее лицо. Она опускает глаза и обводит пальчиком контур его двуглавой мышцы.

— Не скажу, что это такое уж совершенство. Ни в коем случае. Теперь-то я понимаю, что главную идею мне так и не удалось достаточно ясно выразить. Боюсь, я несколько переоценила читательский интеллект. До половины моих читателей так и не доходит, о чем это написано. Даже сегодня.

Он снова пристально рассматривает потолок.

— А скажи-ка мне ее современное название.

— Знаешь, дорогой, у меня ведь есть еще одна противная сестра. Такая же ужасная снобка, как Клио. Они вечно объединяются и поддерживают друг друга. Ее зовут Каллиопа, она отвечает за эпическую поэзию. То, что она написала, — просто убиться можно, скучнее за всю жизнь ничего видеть не приходилось. Ни крупинки сколько-нибудь приличного секса, ни смешинки, ни юмора — от начала и до самого конца. Ну вот, просто чтобы натянуть ей нос, я взяла один ее персонаж — у нее этот герой куда не годился — и построила своих «Мужчин» вокруг него. Чтобы показать, чего такие, как он, на самом деле стоят.

— Будь любезна, скажи все-таки, как твоя работа по-настоящему называется.

— Но, мой милый, я же только что тебе сказала.

— Под каким названием она теперь известна?

Ее пальчик рисует на простыне кружки и овалы.

— Дорогой, мне неловко. Я же никогда никому про это не говорила. Не признавалась, что на самом деле ее написала я. Во многих отношениях она так примитивна... наивна. Не говоря уж о том, что все города там просто перепутаны.

— А что, там так уж много конкретных названий?

Она мешкает, продолжая ратовать кружки на простыне.

— По правде говоря, довольно много.

— Так она о путешествии?

— Думаю, что-то вроде того.

— Я, конечно, ни на миг не мог бы предположить, что по какому-то совершенно невероятному совпадению это путешествие началось сразу после разграбления Трои?

— Дорогой, мне не очень хочется отвечать.

— И может, она чуть больше известна под названием «Одиссея»?

Она резко садится и отворачивается, закрыв лицо руками.

— О Боже, Майлз! Какой кошмар! Ты догадался!

Он закладывает руки за голову, продолжая смотреть в потолок. Она взволнованно оглядывается на него, затем импульсивно поворачивается и прижимается к нему всем телом.

— Мой дорогой, не ревнуй, пожалуйста, не надо завидовать мне из-за того, что моя единственная, неловкая и незначительная попытка что-то написать по счастливой случайности стала чем-то вроде бестселлера.

Он поворачивает голову и встречает ее встревоженный взгляд.

— А я-то полагал, что сейчас у нас период отдыха.

— Конечно.

— Как же ты смеешь утверждать, что я еще невозможнее, чем ты... и из-за чего — из-за незначительного, совершенно проходного замечания о чьей-то там груди... просто абсурд какой-то. Да любой ученый-античник знает, что Гомер был мужчиной.

Она резко отстраняется, заняв прежнюю позицию.

— О Майлз, я тебя обидела!

— Да он совершенно очевидно был мужчиной. Он же был гений. Если хочешь знать, завидуешь ты, а не я!

— Теперь я жалею, что подняла этот разговор.

— И хорошо сделала. Потому что это показывает, как работают твои мозги. Уровень твоего интеллекта. Если б ты на самом деле хотя бы прочла эту чертову поэму, ты поняла бы, что Одиссей вернулся в Итаку единственно из-за того, что понятия не имел, где взять другой корабль и где команду себе подобрать. И между прочим, Гомер с самого начала его гребаную женушку раскусил. Недаром она там все прядет да прядет. Всем прекрасно известно, почему пауэчи самки так пауков любят.

Она нежно прижимается к нему:

— Майлз, не надо. Я сейчас расплачусь. Прямо как Пенелопа.

Он вздыхает:

— Ну ладно. Разумеется, он не мог сентиментальных слюней туда не подпустить. Думаю, даже в те времена приходилось хоть косточку обглоданную да бросить женщинам-читательницам на потребу.

— Будь добр, не произноси слово «женщины» так, будто это ругательство. И пожалуйста, обними меня, как раньше.

Пару минут лежит без движения, потом все-таки вынимает правую руку из-под головы и обвивает ее плечи, с тем моментальным и глубоким проникновением в самую суть женской иррациональности, которое так характерно для мужского ума; еще минута, и он принимается поглаживать ее спину.

— Ну хорошо. Поверим, что ты подсказала ему парочку идей. Цирцея там. Калипсо и всякое такое. Она чмокает его в плечо:

— Спасибо, дорогой. Как мило с твоей стороны так широко мыслить.

После этой небольшой стычки они лежат молча. Вскоре, однако, он нарушает молчание и говорит, тщательно выдерживая нейтральный тон:

— Мы так ничего и не решили насчет следующего раза.

— Нет, решили. Меньше слов. Больше дела.

— Одно из мест, где мы могли бы кое-что вставить, знаешь какое? Где ты отворачиваешь лицо и смотришь в сторону с таким видом, будто тебе все наскучило, будто все тебе противно, и говоришь:

«Лучше бы ты просто трахнул меня, и дело с концом». — Он на миг замолкает. — Я подумал, может, в следующий раз так и сделать?

— Дорогой, это звучит просто великолепно. Ты хотел бы, чтобы я по-прежнему притворялась, что мне все наскучило и противно, или наоборот?

— Это тебе решать.

Она тесно прижимается к нему.

— Какое значение имеют глупые чувства женщины? Я хочу того, чего хочешь ты. Ты же МУЖЧИНА.

— Но ведь это ты БЕССМЕРТНА.

— Мой милый, право же, мне все равно.

— Но я настаиваю.

— Ну ладно. Я притворюсь, что наслаждаюсь.

— Я вовсе не хочу, чтобы ты притворялась.

Она некоторое время молчит.

— Я всегда чувствую, когда ты на меня сердишься.

— Да не сержусь я на тебя. Нисколько. Только вот... ну, все это нужно как следует организовать. Невозможно импровизировать, ничего сначала не продумав.

— Конечно, дорогой.

— Никто не сядет за столик в ресторане, не посмотрев на меню и не решив, что он будет есть.

— Конечно, Майлз.

— Я просто хочу сказать, что мы несем определенную ответственность за наши три и три десятых с рецидивами.

— Дорогой, ну конечно же.

— Не говоря уж обо всем остальном, у тебя-то впереди бесконечные тысячелетия для того, чтобы этим заниматься. Тогда как я...

— Майлз!

Пауза.

— Мы же твердо держались четырех-пяти на вариацию, вплоть до десятой. А с одиннадцатой вплоть до двадцатых все у нас просто вдребезги рассыпалось.

— Ты меня в этом винишь?

— Да вовсе нет. Нужно только побольше концентрации. С обеих сторон. — Он продолжает, прежде чем она успевает ответить: — Не говоря уж обо всем остальном, существует масса всяческих... повествовательных альтернатив, исследованием которых мы всерьез не занимались.

— Например?

Он рассматривает потолок.

— Я подумал, что первоначальный курс лечения я мог бы пройти с сестрой Кори. Например.

Пауза.

— Майлз, я могу, как женщина, сообщить тебе, что она...

— Знаешь, я нахожу несколько странным, что она была достаточно хороша для величайшего поэта всех времен и народов, но, оказывается, недостаточно хороша для меня.

— Если ты находишь, что кратковременное engouement¹⁰⁹ типичного провинциала бордельной шлюшкой, вывезенной с Барбадоса четыре сотни лет назад... — Она замолкает. — Конечно, я понимаю, я ведь всего-навсего богиня.

— Просто благодаря тебе она обрела в моих глазах совершенно иное измерение, иной объем. Вот и все.

— Мне казалось, ее прежнего объема тебе вполне хватало.

Он задумывается.

— Спорить я не собираюсь. Просто мне такая идея в голову пришла. Но если ты слишком величественна для того, чтобы воплотиться в образ очаровательно человеческой и жизнерадостной представительницы обездоленной расы... мне просто нечего больше сказать.

Теперь задумывается Эрато.

— Только первоначальный курс?

— Ну, между прочим, мы могли бы ей поручить...

— Поручить что?

— Не существенно.

— Нет, пожалуйста, продолжай.

— Ну, мы могли бы поручить ей все, с начала и до конца. То есть она могла бы быть тобой.

Опять стала бы смуглой музой. Просто чтобы хоть чуточку поднять среднее число. — Она не отвечает. — Но я, конечно, буду о тебе скучать.

— А других идей у тебя нет, Майлз?

— Пожалуй, нет. Кроме предложения, чтобы ты надевала туфли не с таким острым носом, когда собираешься пнуть меня, беззащитного, в бок...

Небольшая пауза, затем она снова приподнимается на локте. Ее лицо — сплошное раскаяние — склоняется над ним.

— Любимый мой, бедненький. Мне кажется, ты просто неожиданно чуть-чуть пододвинулся, а я уже не могла остановиться.

— Двадцать девятый раз!

— О Майлз, неправда! Покажи мне, где болит. Дай-ка я как следует это место поцелую. —

Она перегибается через него и целует это место как следует, потом выпрямляется и с упреком смотрит на него сверху вниз. — Дорогой, это так по-английски — копить все в себе! Про сестру Кори и ее груди, например. — Она с минуту взирает на него вдумчиво оценивающим, хотя и любящим взглядом. — Ты порой кое-кого мне напоминаешь.

— Кого?

Все еще опираясь на руку, она проводит другой рукой по его груди, добирается до живота и круговыми движениями гладит ему кожу у пупка.

— Я даже не помню, как его звали. Он был никто. Ну, если по правде, это был мой друг... Я его делила с другой моей сестрой — Талией. Его звали Чарли. Но он предпочитал меня. Просто смех да и только.

— И кто же он был, этот Чарли?

— Дай-ка я поближе к тебе пристроюсь. — Она занимает прежнее положение. — М-м-м, как приятно. Чарли был... о Боже, моя память... Если б только их было не так много. — Ее рука похлопывает его по плечу; наконец последний — торжествующий — хлопок. — Француз.

— Это было во Франции?

— Да нет. В Греции. Вот уж точно, что в Греции.

— Но «Чарли» — не...

Правой ладонью она закрывает ему рот — молчи.

— Майлз, я знаю. Это у меня такая система. Довольно абсурдная, правда. Подожди минутку. Француз... а, вот оно! Так и знала, что в конце концов доберусь куда надо! Ква, ква, бре-ке-ке-кекс! Одна из его пьес была про лягушек¹¹⁰.

Он не сводит глаз с потолка.

— Да почему же — Чарли, Господи прости?

— Ну, его настоящее имя такое длинное. Никак не могу его запомнить.

— Мы — в Афинах пятого века?

— Милый, я не могла бы поклясться, что точно помню дату. Но ты, конечно, прав, это и правда было в Афинах и задолго до появления дискотек и онассисов¹¹¹ и всего прочего в этом роде. И так давно, что тебе нет причин ревновать, но я правда по-настоящему любила Чарли,

он ведь оказался одним из тех четырех мужчин в Афинах, которые не были извращенцами; так что, если честно, нам, женщинам, не из чего было особенно выбирать, и мы с Талией подарили ему идейку для другой пьесы — с очень миленькими женскими ролями, и он развил сюжет просто блестяще, впрочем, если честно, там была одна шуточка про милетских жен, которая... но это уже совсем другая история¹¹². Мы ходили навещать одного старого психа. Он жил в кошмарной квартире, в низком первом этаже, рядом с рынком, света там совершенно никакого, больше на пещеру похоже, чем на квартиру, и хуже того, когда мы пришли, он сидел в самом дальнем углу, скорчившись над огнем... а день был просто раскален от зноя. Ты и представить себе не можешь. Только глупому старому дурню до нас и дела никакого не было, он на меня едва взглянул, когда Чарли нас познакомил. Разумеется, я явилась туда инкогнито, так что он понятия не имел, кто я такая. Только я думаю, он все равно внимания не обратил бы, даже если б знал. Кажется, единственное, что он способен был делать, — это показывать идиотские теневые фигуры на стене: поставит руки перед огнем и показывает. Будто мы с Чарли четырехлетки какие-нибудь. Трудно поверить, но видно какой-нибудь ребяенок как раз накануне показал ему, как эти штуки делать. Я с первого взгляда поняла, что он в маразме. И место ему — в доме для престарелых. Тебе надоело?

Он смотрит в потолок.

— Продолжай, продолжай.

— Ну, я хочу сказать, должен же быть предел всем этим птицам с крыльями и смешным рожицам и волчьим мордам¹¹³. В конце концов у нас с Чарли все это просто в зубах навязло, и Чарли — просто так, ради шутки — предложил, чтобы я все с себя сняла; помню, на мне было такое довольно миленькое изящное платье светло-шафранового цвета, а по подолу — полоса основного тона, вышитая красной шерстью, я его за неделю до того купила на весенней распродаже в прелестном кефалонийском¹¹⁴ бутике, как раз за Стоей¹¹⁵, потрясающий фасон... новенький с иголочки хитон и как раз в моем стиле... Так о чем это я?

— О том, чтобы снять его перед...

— Ну, знаешь, просто чтобы выяснить, как моя нагая тень будет смотреться на стене, и чтобы хоть какое-то удовольствие бедняге маразматику доставить... и знаешь, что из этого на самом деле вышло? Он схватил метлу, что у камина стояла, и начал выкрикивать дрожащим голосом ужасные оскорбления в адрес бедного Чарли. Что если Чарли решил, что его на все готовая хористочка — прямо такими словами! — это его, старого психа, представление об идеальной женщине, то ему — Чарли — надо как следует проверить свои вульгарные водевильные мозги. А потом ему хватило наглости заявить, что у меня нос слишком длинный и брови неправильно выщипаны, что мой божественный хитончик на три дюйма короче, чем надо, руки и ноги слишком тонки, а попа недостаточно оттопырена... ну конечно, это последнее замечание как раз и раскрыло все карты. Он был точно такой, как все афинские мужики. В реальности, идеальной женщиной для него был идеальный мальчик. Чарли так и сказал ему — прямо в его злосчастную физиономию. И если бы не успел отпрыгнуть назад, тот залепил бы ему метлой прямо по голове. Пришлось уносить ноги. А старый псих стоял в дверях, размахивая своей дурацкой метлой и выкрикивая всякую ерунду, что вроде он напустит на нас своих хранителей — Бог его знает, что он хотел этим сказать, — за то, что мы вторглись в... — Она замолкает на мгновение. — Он был этот, как его...

— Не философ ли, случайно?

— Потрясающе! И как это ты...

— Просто догадка.

— Знаешь, все они одинаковые. Чарли довольно забавно показал это в одном из своих фарсов. Он говорил, они даже не способны увидеть разницу между собственными phalloi и pyge¹¹⁶.

— В каком же это фарсе?

— Паршивка Клио как-то сказала мне, что он не сохранился. Только я, зная ее как облупленную, подозреваю, она засунула его куда-нибудь под ирригационные сооружения инков

или еще подальше. Чтобы можно было потихоньку его вытащить, когда кругом никого нет, и устроить себе стародавеческий субботний вечерок на природе.

Он по-прежнему разглядывает потолок.

— Хочу напомнить тебе про старого... психа.

Она целует его в плечо.

— Только совсем-совсем чуть-чуть, дорогой. Самую маленькую чуточку. Время от времени.

— Не вижу никакой связи. С моей точки зрения.

— Майлз, ну что ты сразу весь закаменел, обиделся. Я не имела в виду никакого физического сходства.

— Когда это я ругал тебя за то, что ты снимаешь одежды?

— Но ты же всегда пытаешься превратить меня во что-то такое, что совсем не я. Как будто я больше тебе нравилась бы, если бы стала самым совершенством. Или сестрой Кори. Я чувствую, что мне никогда не удастся соответствовать тому, чего ты на самом деле хочешь. Я знаю — у меня есть недостатки. И нос мой действительно на пару миллиметров длиннее, чем надо. — Она умолкает. — У меня как-то еще один друг был. Он вечно подсмеивался над этим. Вообще-то, он был подонок. Ушел к до смерти скучной Каллиопе. Впрочем, кое-чем отплатить ему я сумела.

— И кто же такой это был?

— Ничего, что я так много болтаю? А то скажи. Ну, на самом-то деле я так сделала, что «нос» навеки прилип к его имени. А потом его отправили в ссылку. Где он написал кошмарную, длинную, как ее там, про основание этого, как его... ну, знаешь, марш-марш-марш...

— Рима?

— Рима.

— Ты спутала двух совсем разных людей.

— Нет, не спутала. Я в жизни его не забуду.

— Это Вергилий¹¹⁷ писал о Риме.

— Ну конечно же! Какой ты умный, что вспомнил.

— А тот, с которым у тебя был роман, — Овидий.

Молчание.

— Майлз, ты абсолютно уверен?

— Публий Овидий Назон¹¹⁸. Назо — нос.

— Да, теперь я припоминаю. Раз ты сказал. Вроде бы я вдохновила его на какие-то оды или что-то такое?

— Господи Ты Боже мой! Это уже Гораций¹¹⁹.

— Ну да, конечно. Прелестную вещицу написал. Про воробья.

— Катулл!¹²⁰

— А его-то я как раз помню. Он такая прелесть! Так забавно было его дразнить. Знаешь, я ведь была его Ливией.

— Лесбией, Боже милостивый!

Она прижимается плотнее.

— Милый, прости, пожалуйста. Я же стараюсь.

— Да мне просто интересно: если ты вот так обращаешься с великими поэтами прошлого, как, черт возьми, ты можешь относиться...

— Майлз, я же только вдохновляю. Зароняю семена. Не очень много. Не могу же я быть всегда именно там, где из семян прорастают цветы. А читать все, что не по-гречески написано, — у меня просто глаза болят. Ни один алфавит не имеет для меня таких полутонов и подтекстов, как греческий.

Майлз Грин пристально глядит в потолок, что-то обдумывая в молчании. Она целует его в плечо.

— Дорогой, скажи, о чем ты думаешь?

- Ты прекрасно знаешь, о чем я думаю.
- Нет, честно.
- Мне хотелось бы знать, ты когда-нибудь хоть одну строчку прочла из того, что я написал? Теперь она несколько секунд молчит. Потом зарывается лицом в его шею и целует.
- Майлз, я прочла несколько рецензий. И слышала, что люди говорят о твоём творчестве.
- Но ничего не читала?
- Я знаю, о чём твоё творчество. Его общую направленность.
- Я спросил — ты что-нибудь читала?
- Ну... не совсем в буквальном смысле, дорогой. Я всегда собираюсь наконец взяться...

Чесслово.

— Ну спасибо тебе.

— Майлз, ты же знаешь — я люблю тебя реального.

— Я хотел бы, чтобы ты не употребляла слово «реальный». Ты сумела напрочь подорвать мою уверенность в том, что оно значит. — Она не успевает ответить. Он продолжает: — Ты начинаешь с заявления, что я безнадежно сумасброден, неточен. Потом признаешься, что, черт бы тебя побрал, ни одной строчки и в глаза не видала. Знаешь что? Тебе бы в самый раз за критические статьи взяться!

Она утыкается лбом в его плечо.

— Я — совсем как ты. Я тоже не умею пользоваться словами.

— Послушай, Эрато. Игры, в которые мы играем во время, образно говоря, игры, — это одно. Но ты все чаще и чаще вводишь их в периоды нашего отдыха. Чаще и чаще ты принимаешься высмеивать то, что для меня является очень важным. Реальность, например. И ради всего святого, перестань говорить, что ты всего лишь такая, какой я хочу, чтобы ты была. Я не хочу, чтобы ты была такой. Ты всегда такая, какой сама хочешь быть. И шутки здесь все менее уместны.

— Не сердись, пожалуйста.

— Да не сержусь я. Просто я совершенно шокирован. И очень обижен.

Он смотрит в потолок. Ее рука лениво сползает к низу его живота, отыскивает безжизненный сейчас пенис и принимается поглаживать его ласково сжимать. Он молчит. Потом произносит:

— Только и знаешь, что насмеяться. Всегда готова в стойку встать.

Она целует его плечо.

— Чаще, чем ты.

— Да я же не об этом.

— Ну ничего у меня не выходит с именами. Будто целое облако мух жужжит в голове.

— А получше сравнение не могла придумать?

— Что же в нём такого плохого? А, дорогой?

Губы его мрачно сжаты, но наконец он не выдерживает:

— Да прекрасно ты все помнишь. Когда хочешь.

Она по-прежнему ласкает его пенис.

— Кое-что — да.

Он некоторое время молчит.

— Тебе-то хорошо. Разумеется, я понимаю, что сцена на том лугу, на Парнасе, всего лишь метафора, символ алфавитных слияний, из которых строятся слова и всякое такое. Но я никак не могу понять, почему ты не способна сделать мне скидку на недостаток сексуального опыта. Каким обладаешь ты. Ведь я не так уж много прошу. Неужели тебе трудно время от времени входить в чей-то еще образ? На часок-другой.

— Майлз, я знаю, черное — это очень красиво, но меня чуточку задевает, что я недостаточно хороша для тебя такая, как есть. Если оставить в стороне тот факт, что мы с самого начала договорились: я могу стать кем-то другим, когда сама этого захочу.

— Только ты этого никогда не хочешь.

— Не вижу, почему нам нельзя оставаться самими собой.

— Потому что ты меня не понимаешь. Я иногда думаю, что было бы гораздо лучше для нас обоих, если бы мы были совсем другими людьми.

Она приподнимает пенис и снова дает ему упасть.

— Мой дорогой, я тебя прекрасно понимаю. Может, я и не читала твоих книг, зато я прочитала тебя. Я тебя просто наизусть знаю. Почти. — Она похлопывает пенис, как бы на прощание, и рука ее скользит вверх, к плечу Майлза. — И пожалуйста, давай больше не разговаривать. Отдохнем немного. Может, через минутку у меня настроение изменится. Когда мы возьмемся за новую редакцию.

— А я не считаю, что вопрос решен.

— Милый!

— Мы теперь только тем и занимаемся, что разговариваем. Мы были близки всего каких-то несчастных два раза на протяжении... ну если бы это не был не поддающийся написанию текст, то на протяжении — по меньшей мере — трехсот пятнадцати страниц. А мы с тобой здесь вовсе не для этого.

— Обещаю придумать что-нибудь невыразимо прекрасное к следующему разу.

Он произносит со вздохом:

— Просто этого недостаточно.

— Мой дорогой!

— Ладно.

— Я ни слова не произнесу. Ты сможешь брать меня снова и снова и снова.

— Вот это будет денек!

— Обещаю.

Она поглаживает его по плечу. Он раскрывает рот, собираясь что-то сказать, но снова сжимает губы.

В палате воцаряется тишина, нарушаемая лишь мирным тиканьем часов с кукушкой. Две фигуры лежат, прижавшись друг к другу, на погруженной в сумрак кровати, глаза у обоих закрыты — прелестная картина сексуального согласия: прильнувшая к мужчине женщина, оберегающий женщину мужчина, мирный отдых после эротической бури. Она подвигает правую ногу чуть выше — к его чреслам, прижимается лобком к его бедру и сонно льнет все ближе и ближе. Потом затихает.

Сочувствие каждого мужчины, разумеется, должно быть на стороне Майлза Грина... во всяком случае, так со всепоглощающей уверенностью полагает сам Майлз Грин. Ибо разве это неразумно — порой стремиться пойти по стопам Великого Барда? Так он и делает, в порядке утешения минуту-другую просматривая в уме слайды с изображением полной жизни, веселой и страстной, а теперь обретшей историческое очарование девушки из Вест-Индии. Однако очень скоро и совершенно естественно мысли его — в царящей здесь тишине скользят прочь, к другим возможностям разрешить возникшие затруднения. Девушки из Полинезии, Ирландии, Венесуэлы, Ливана, Бали, Индии, Италии, России и прочих географических пунктов планеты; застенчивые, страстные, дерзкие, холодные, одетые, раздетые; покорные и неуправляемые; преследуемые и преследующие, дразнящие и плачущие, игривые и буйные... целая Организация Объединенных Наций из женских глаз, губ, груди, ног, рук, чресел, попок, то мило крадучись, то дерзко врываясь, словно в калейдоскопе проходят перед окнами его воображения — или сквозь них; но, увы, словно образы на быстро листаемых страницах какого-нибудь журнала или как снежинки, замерзшие, потому что реализовать их невозможно.

Безумие какое-то: ведь все они, покоясь в том самом теле, которое сейчас не очень плотно обвивает его правая рука, просто ждут не дождутся, когда можно будет воплотиться — или быть воплощенными — в жизнь, в эту очаровательную и такую изменчивую реальность; то есть, конечно, в том случае, если эта злосчастная девица (Гомер, тоже мне!) с ее капризным и совершенно банальным женским тщеславием (особенно абсурдным в семействе, где все от

мала до велика просто до умопомрачения поглощены стремлением постоянно демонстрировать собственный полиморфизм) в конце концов будет знать свое место. Надо признать — за свою долгую карьеру она, как и большинство богов, нахваталась глупейших человеческих качеств. То, как она ведет себя... можно подумать — она обыкновенная женщина; хуже того — жена!

Так размышляет мистер Грин. Разумеется, говорит он себе с обычной своей объективностью, не стоит очень уж жаловаться на то, что изо дня в день, хоть и приходится худо-бедно принимать плохое вместе с хорошим, твоей партнершей в постели становится не кто-нибудь, а богиня, готовая к тому же испробовать практически все (кроме метаморфозы и бразильской вилки); не стоит и пренебрежительно относиться к ее единственной уступке вечному мужскому квазидуховному стремлению отыскать что-то осязательно — хотя бы на сантиметр (или на один только слог) — получше, чем то, что он сейчас имеет, уступке в виде сестры Кори. Тем не менее невозможно ведь не думать обо всех остальных уступках, на которые она могла бы пойти, раз уж взялась за это дело. Вот это и есть самое большое разочарование: печальное и вместе с тем комичное открытие, что музе может не доставать воображения в таких делах. Все равно что получить «феррари» в подарок вместе с запретом делать на этой машине больше чем десять миль в час.

Придется взглянуть фактам в лицо: если бы она не была той, что есть, можно было бы уже заподозрить, что она пусть самую малость, но все-таки определенно мешанка. Все эти разговоры о ее «реальной» сути, о том, чтобы быть самой собой, граничат с мелкобуржуазными взглядами, с ужасной болезнью, называемой картландит¹²¹, с этосом¹²² девчонки-продавщицы. А эта ее ревность к себе самой только из-за того, что он находит ее более привлекательной сексуально, когда она принимает образ кого-то другого... ну просто нет слов! Оказываешься в опасной близости от самого края пропасти: ведь так и хочется спросить, да ты и вправду с Парнаса? А может, ты в пасторском доме выросла?

Нет, думает Майлз, Бог свидетель, это еще не самое худшее. Последняя, ужасно многословная, вариация только лишней раз подтвердила то, что он заподозрил с самого начала. Представление, что музы застенчивы и мимолетны, — самый наглый обман, какой когда-либо навязывали человеку. Вместо «застенчивы и мимолетны» читай «неисправимо фривольны и фальшивы», тогда сумеешь весьма значительно приблизиться к истине. Если той, что лежит сейчас рядом с ним, удавалось от чего-то ускользнуть, так это от всего такого, что хоть на миг могло показаться серьезным. Я имею в виду вот что (говорит себе Майлз): если взять тот вопрос, который я собирался поднять, но так и не поднял, но, черт меня побери, если не подниму его в следующий раз... маленький такой вопросик: почему это девяносто девять процентов всего, на что, как предполагается, вдохновляла людей эта девица и все ее родственнички, всегда оказывалось — и по сию пору оказывается — пустой тратой слов и бумаги? Вот что доказывает, как они на самом деле заботятся о нас. «Дельфийские Танцовщицы» — это да, это верно; а сколько настоящих слов было... Господи Ты Боже мой, да он готов об заклад побиться, что те немногие, кто создал хоть что-то стоящее, смогли сделать это не благодаря, а вопреки Эрато.

Но со всей убедительностью раскрыло ее карты именно то, что она и правда могла дарить вдохновение, если хотела. Она же буквально наслаждалась, когда была Смуглой леди, Лесбией, Калипсо¹²³, да Бог знает кем еще ей заблагорассудилось быть; она даже готова была стать греческой урной¹²⁴ и небесной подругой¹²⁵, когда нечем больше было заняться. Но все это — для других; что же касается его, с ним она даже не готова провести хоть немного свободного от дежурства времени в образе молоденькой медсестры из Вест-Индии. А в часы дежурства она ни разу не побеспокоилась выяснить, как он сумел бы использовать малую толику истинного, серьезного вдохновения, не потрудились даже прочесть, что он написал в прошлом... ведь тогда она, вне всякого сомнения, тотчас же поняла бы, что он — личность слишком значительная, чтобы к нему можно было относиться с таким пренебрежением.

Опять-таки следует сказать (говорит себе Майлз): она столь же неисправимо мелка, как и болтлива. Можно, разумеется, не обращать внимания на то, как она посылает подальше все,

что ты считаешь самым ценным в литературе, включая — не в последнюю очередь — и тебя самого, отдавая тебе, в порядке компенсации, свое, правда вполне приемлемое, тело. Но теперь стало ясно, ясно до шока, что она и этого не принимает всерьез. Можно, конечно, в случае необходимости допустить расхождение во мнениях по поводу того, насколько уважительно следует относиться к писательству и писателям; но никак не по поводу того единственного, фундаментального, в чем состоит долг женщины перед мужчиной. Должен же быть некий предел в этой области, где следует поставить точку, прекратить поддразнивания и шутки, отдать должное биологической реальности, свидетельствующей о том, зачем вообще существуют на свете женщины. Хвастаться он не станет и уж конечно не станет и пытаться соперничать с Казановой, Байроном или Фрэнком Харрисом¹²⁶, но ведь это не он к ней явился, а она к нему! И причина тут может быть совершенно ясно какая.

Разумеется, именно это и скрывается за ее отношением к нему: она недовольна, что ее тянет к нему физически, — вот вам венец всех доказательств того, как низко пала она с высот истинной божественности, как далека от Декарта и как близка к типичной женщине двадцатого века, с хорошо промытыми мозгами, да к тому же весьма среднего уровня. Господь свидетель, уж ему-то прекрасно знаком этот тип женщин из надоевшего однообразия реального мира там, за серыми стегаными стенами: раздраженные, всем недовольные, пренебрежительные, недобросовестные, становящиеся язвительными, как только в голову им приходит мысль, что их драгоценное, наконец-то освободившееся крохотное эго подвергается опасности из-за предательства их собственного тела; сами напрашиваются, а потом тебя же отвергают; то оказываются рабами собственных чувств, то гордо швыряют тебе в лицо свободу воли, которой, по их предположению, они обладают; вечно высмеивают все, что оказывается за пределами их понимания, пытаясь стянуть мужчину вниз, свести до собственного уровня. Они — вечные подростки, вот в чем беда: никакого чувства времени, ни малейшего представления о том, когда следует остановиться или когда нужно соответствовать собственному возрасту, что Эрато и демонстрирует так наглядно.

Майлз вспоминает их начальные вариации — какими чисто физическими, страстными, свободными от диалога они были, сколько включали в себя эксперимента, как были невозпроизводимы в тексте. А что теперь?! Это исключительно по ее вине. Этим всегда и кончается — с женщинами вечно тонешь в болоте реальности, иначе говоря — в словах. Время от времени даже задаешься вопросом: да не изобрели ли они литературу, чтобы на нас отыграться, нарочно запутать и отвлечь тех, кто настолько лучше и выше, то есть мужчин, заставить их попусту тратить свои жизненные соки и интеллектуальные устремления на всяческие мантиссы* и банальности, на теневые фигуры на стене? Все это и правда можно счесть разросшимся заговором; и кого же мы видим в самой его сердцевине? Кого же иного, как не это вот скользкое, злобное, двуличное создание, прильнувшее к нему?

Казалось бы, что к этому моменту Майлз Грин должен был впасть в состояние вполне оправданного уныния. На самом же деле, в то время как он лежит там, на кровати, на губах его играет что-то весьма похожее на улыбку. И причина ее ясна. Он только что весьма хитро подставил под удар жертвенную пешку и согласится потерять ее не иначе как выиграв ферзя. Его недавние, упорно повторяемые упоминания о сестре Кори и ее прелестной груди были вовсе не проявлением бестактности или ехидства; целью их было перехитрить оппонентку, явно намеревавшуюся перехитрить его самого. Когда ревность Эрато к сестре Кори достигнет достаточно высокого накала, он неожиданно и легко предложит оставить всякие разговоры о ней, а затем заведет речь о новой альтернативе. О новой, уже выбранной им и гораздо более привлекательной кандидатке, — разумеется, не без детального обсуждения широчайших возможностей, как он уже успел намекнуть. Между прочим, ему теперь трудно себе представить,

* Мантисса — «добавление сравнительно малой важности, особенно к литературному тексту или рассуждению» (Оксфордский словарь английского языка — Oxford English Dictionary). — Примеч. авт.

как это он оказался с самого начала настолько глуп, чтобы не видеть, насколько идеальнее подходит ему эта кандидатка; кроме того, необходимость выступить в ее образе могла бы кое-чему научить эту лежащую рядом с ним греческую девицу (Господи, как правы были троянцы, говоря о греческих дарах!¹²⁷), дать ей пару-другую примеров поведения перед лицом биологической реальности.

Устремив взгляд в потолок, он вызывает образ этой новой кандидатки. Она — японка: скромная и утонченно раболепная в кимоно, утонченно нескромная и все такая же раболепная без. Но несравненно прекраснее и привлекательнее этих ее сторон оказывается для него сторона лингвистическая. Самая мысль об этом заставляет Майлза Грина ощутить, как все у него внутри взвивается в экстазе. Ведь с ней любой диалог — кроме диалога плоти — великолепнейшим образом невозможен. Понятно, можно было бы Эрато позволить, а *la japonaise*¹²⁸, произнести несколько фраз на ломаном английском: «Бривет, Джонни!», «Твоя нравит нехороший ниппонски женщин?» и еще что-нибудь в этом роде, столь же абсурдное; зато что-либо большее будет великолепнейшим и бесспорнейшим образом неправдоподобно.

Он видит ее покорно потупленные глаза, она опустила на колени и присела на пятки: сидит, наигрывая на сямисэне¹²⁹, он-то, конечно, гораздо лучше, чем старая растрескавшаяся лира; а чуть позже — ее нагое белое тело, аромат рисовой пудры и листьев хризантем, блестящие черные волосы, упавшие волной, как только она вынула шпильки; теперь она безмолвно опускается на колени перед ним — своим самураем, исполняя некий сложный, тщательно разработанный и доставляющий все большее и большее наслаждение сексуальный эквивалент чайной церемонии. Руки, трепещущие, словно крылья бабочки, волосы, благоухающие морем, упругие японские грудки... и все это — в полном молчании. Пока наконец, обезумев от страсти (это он видит яснее всего прочего), он швыряет ее на татами — или как там эта штука называется, — и женщина лежит у его ног, готовая принять последний дар — любой, какой он сам пожелает дать ей в награду за ее эротическое искусство. Его женщина, беспредельно уступчивая, поистине воск в его руках, сознающая свой долг, исполненная уважения, безропотная, любящая до обожания и — сверх всего прочего — бесподобно беззвучная, за исключением, может быть, одного-двух хриплых и непостижимых стонов, бессловесной восточной благодарности за наслаждение, когда ее гордый властелин и повелитель... Пока длилось это приятное видение, глаза Майлза Грина были закрыты. Но теперь он вновь их открывает. Каким-то странным образом, столь же непостижимым, как только что прозвучавшие в правой доле его мозга японские стоны, он чувствует себя вроде бы туго спеленатым махровыми полотенцами — то ли он в жарких турецких банях, то ли в жару.

— Эрато?

Она, будто в полусне, мурлычет:

— Что, дорогой?

— Почему-то у нас тут адская жара.

Она поглаживает его плечо:

— Ш-ш-ш. Мы отдыхаем.

Проходит несколько минут.

— Слушай, у меня зуд по всему телу.

— Не обращай внимания, милый.

Он поднимает руку, чтобы поскрести то место в волосах, где зуд сильнее всего его раздражает. Пальцы опускаются на голову. В следующий миг он резко садится, будто коснулся не собственного тела, а кипящего котла.

— О Боже мой милостивый!

Еще через секунду он совершает изумительный (в иных бы обстоятельствах!) атлетический прыжок, одним движением выскочив из постели и оказавшись на бледно-розовом ковре рядом с кроватью, и теперь с ужасом взирает на собственное тело. Эрато до сих пор так и не раскрыла глаз. Она снова мурлычет:

— Что-нибудь не так, дорогой?

Он издает какой-то звук, но это не ответ: звук не такой глубокий и не такой многозначный, какой некоторое время тому назад в этой самой комнате издала она, но столь же ясно указывающий на возмущение, не выразимое ни словами, ни буквами. И как прежде, этот душераздирающий вопль о помощи *in extremis*¹³⁰ не находит отклика ни у той, что явилась его причиной, ни даже, на этот раз, у часов с кукушкой.

Сейчас Эрато все же открывает темно-карие глаза и приподнимается на локте. Ей не вполне удается скрыть улыбку, играющую на ее божественных греческих губах. И если отсутствие сочувствия — вещь чудовищная, то, надо сказать, точно так же и гораздо более чудовищна внешность издавшего стон, ибо то, на что он с таким ужасом взирает, — это его ноги от бедер до ступней. Ноги странно искривлены, бедра уродливо раздуты, а икры худы и жилисты, и все это покрыто спутанной черной шерстью; ступни же теперь вовсе не ступни, а раздвоенные копыта. Руки его отчаянно скребут обросшее бородой лицо, поднимаются к заостренным ушам, ощупывают лоб, где из-под линии волос высовываются тупые толстенькие рожки длиной примерно в один и три четверти дюйма. Его рука (отметим, как замечательно он помнит античную историю и литературу!) тянется назад пощупать место пониже спины, нет ли там лошадиного хвоста, но, кажется, хотя бы от этого он избавлен. Слабое утешение: бледная кожа уроженца Северной Европы теперь стала неузнаваемо смуглой, и лишь одна-две линии в абрисе лица (если бы только Майлз Грин знал об этом) позволяют распознать в нем хоть какое-то сходство с Майлзом Грином. И уж вовсе никакого сходства нет в последней детали его анатомического строения, которая торчит наружу и вверх, поражая огромными размерами, длиной и тетрорхидностью... между этой деталью и тем, что прежде находилось на этом самом месте, — дистанция поистине огромного размера.

На лице его — ужасающая смесь потрясения и гнева; он впивается взглядом в улыбающуюся физиономию той, что лежит на кровати.

— Ты... ты предательница! Сука стебаная!

— Но, дорогой мой, это всего лишь то, что называли «анагнорисис»¹³¹. По-древнегречески. К тому же я подумала, тебе будет интересно посмотреть, как это — быть на моем месте. Для разнообразия.

— Такое не прощают!

— А ты еще говорил, что я не понимаю, какой ты на самом деле.

— Измени меня обратно!

Она оглядывает его с головы до ног:

— Тебе идет. И потом, как быть с нашим средним?

— Ты изменишь меня обратно или нет, черт бы тебя побрал?!

— По правде говоря, мне подумалось, что это была бы прекрасная вариация сцены с амнезией. На этот раз это был бы тяжелый случай сатириазиса.

— Ах Ты Боже мой! Ты напрашиваешься! — Она переворачивается на живот, подпирает ладонями подбородок и, повернув к нему голову, улыбается без слов. — Слушай, ты, безвкусная... этого я как раз не имел в виду!

— Но мы же можем опустить дифтонги... на первый раз.

— О Господи! — Он бросает взгляд вниз, на свое вакхически (или фаллически) непристойное тело. — Это отвратительно! — Он смотрит на нее с таким злобным отвращением, с каким заядлый трезвенник мог бы смотреть на предложенную ему четвертную бутылку солодового виски. — Не знаю, как тебе вообще в голову могло прийти... вот это как раз и доказывает, что ты за женщина на самом-то деле.

— Дорогой... дело вовсе не в этом. Просто меня очень интересуют алфавитные слияния, из которых образуются слова. Символически.

Он смотрит сверху вниз на ее смеющееся лицо:

— Ну ладно. Твоя глупая шутка тебе удалась. Теперь измени меня обратно. Сейчас же! — Она закусывает губы, чтобы не расхотаться. Он грозит ей смуглым пальцем. — Предупреждаю. Я все это запишу. До последнего долбаного слова.

Все еще улыбаясь, внимательно следя за выражением его лица, она принимается называть буквы греческого алфавита:

— Альфа, бета, гамма...

— Я сделаю тебя посмешищем всего... я развенчаю все до последней иллюзии в отношении тебя... я... Господи! Я тебе покажу, что в эти игры можешь играть не только ты! — Он срывается на крик. — Я тебе покажу!

Она утопает в подушках, раскинув руки, словно впивает всем телом солнечные лучи, глаза ее закрыты. Но ее улыбающийся рот (лицо ее повернуто к Майлзу вполоборота) продолжает нашептывать, будто она вспоминает давным-давно отошедший в прошлое день.

— ...мю, ню, кси, омикрон, пи...

— Слушай, клянусь, я это сделаю!

— ...фи, хи, пси, омега.

— Ладно. Хватит.

Она продолжает, вернее, начинает с начала:

— Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон...

— Вот, вот.

— Дзэта, эта, тэта, йота, каппа...

— Даю тебе последний шанс.

— Лямбда, мю, ню, ню была просто божественна, кси, пожалуй, чуть-чуть слишком, омикрон — само название себя объясняет, пи, ро...

— Ну все! Совершенно определенно, убедительно, категорически, окончательно и бесповоротно, раз и навсегда — все!

— Сигма, тау...

— Каждое долбаное слово!

— Ипсилон, пи...

— Я с тобой больше не разговариваю. И это — навсегда.

— Хи, пси, омега.

— Приказываю тебе исчезнуть из моих мыслей. Немедленно.

— Конечно, дорогой. Альфа, бета...

Как удачно, что палата акустически совершенно непроницаема. Бедный сатир, выведенный из терпения (такое случается даже с сатирами!), издает ужасающий вопль бессильного гнева, от которого кровь застывает в жилах: ни одно получеловечье-полукозерожье горло в мире еще не издавало подобного звука. Он стоит содрогаюсь. Затем делает странный прыжок с подскоком и поворачивается лицом к двери; низко нагнув голову, стремительно и неудержимо бросается лбом прямо в дверь. К счастью, дверь тоже обита мягкой стеганой тканью, так что этот яростный наскок и финальный удар не дают результата. Дверь стоит непоколебимо. Человеко-козел лишь отшатывается назад, он даже не оглушен, только самую малость ошарашен. За его спиной, на кровати, все еще слышится бормотание: повторяются буквы греческого алфавита. Он оборачивается и задумчиво разглядывает нежно-белые, сейчас слегка раздвинутые ноги, предлагаемые взору упругие щеки ягодиц, стройную спину, раскинутые руки, утонувшую в подушках голову, блестящие черные волосы волной... Блестящие черные волосы! И его ноздри, теперь гораздо более чуткие, чем прежде, щекочет несомненный аромат морских водорослей, рисовой пудры, толченых листьев хризантем!

— Хи, пси, омега...

Секунда молчания. Затем существо, лежащее на постели, чуть приподнимается и оборачивает к нему выбеленное кукольное, совершенно японское лицо, на котором играет отвратительно синтетическая улыбка.

— Бривет, Джонни! Твоя нравит нехороший...

На сей раз в его голосе уже нет гнева, теперь он издает лишь первобытный клич самца, в котором, возможно, удалось бы расслышать призывок последнего вопля летчика-камикадзе. Два

поспешных шага, невероятный подскок, прямо-таки имитирующий прыжок украшающей часы серны, и Майлз Грин пролетает над изножьем кровати, осознав наконец реальность ситуации. Но в самую последнюю, тысячную долю секунды, в апогее полета, прямо перед его безошибочно точным снижением в намеченную точку, повествование совершает свой самый жестокий поворот... впрочем, возможно, это полиморфичная Эрато, с ее более тонким пониманием и более обширным опытом в таких делах (и поскольку уже ясно, что даже богини могут чувствовать обиду), совершает поспешный акт самозащиты. Во всяком случае, в этот крохотный промежуток времени меж апогеем и поражением цели эфемерный японский двойник исчезает.

С невероятной точностью великолепно оснащенный сатир шлепается на покрытый простыней опустевший матрас, словно реактивный самолет, слишком быстро опустившийся на палубу авианосца; оттуда, не имея в распоряжении никакого тормозного механизма, он рикошетом отлетает вперед и вверх, словно с трамплина. Рогатая голова с неприятным глухим стуком ударяется о стену над кроватью: возможно, здесь стена не так хорошо простегана. Вне всякого сомнения, часы ощущают вибрацию, вызванную ударом, потому что они вдруг начинают безостановочно куковать. Что касается сатира, то на этот раз он приземляется головой на подушку и лежит без сознания. И тут происходит последняя трансформация. Бледное неподвижное тело, распростертое лицом вниз на кровати, снова оказывается телом Майлза Грина.

Наступает короткая пауза. Затем неизвестно откуда возникают две пары рук — белых и черных. Безжизненное тело переворачивают на спину. Его накрывают простыней и легким одеялом, которое туго натягивают и тщательно подтыкают под матрас с обеих сторон. Белая пара рук плывет к двери, одна из них поднимается — включить настенную лампу, аккуратный прямоугольник, перламутрово-белый пластмассовый плафон, расположенный над кроватью на высоте, позволившей избежать разрушения. Тем временем черный или, скорее, шоколадно-коричневый кулачок наносит неистовым часам мистера О'Брайена резкий удар в бок. Часы перестают куковать. И тут раздается строгий голос доктора Дельфи:

— Хорошо, сестра. Думаю, теперь у нас есть время выпить по чашечке чая. — Тон слегка меняется. — Вы будете пить чай у меня в кабинете.

— Я?

— Вы, сестра.

— Спасибо, доктор.

Дверь открывается.

— О, совсем забыла. Не могли бы вы сначала принести сантиметр? Мне надо кое-что измерить.

— Что, занавес, доктор?

— Полагаю, это более чем вероятно, сестра.

Дверь захлопывается. Изящные смуглые руки бесцельно суетятся у подушки. Затем низко над подушкой звучит голос девушки из Вест-Индии, разговаривающей сама с собой:

— Занавес... конец? Наглости хватает такое сказать! И она еще вас расистом обзывает... чесслово, мистер Грин, у этой вот черной девушки в ногте мизинца на ноге больше понимания насчет муштин-пациентов, чем у той белой во всем ее тощем теле. Вот увидите, верно это или нет, пусть только она к вам свою зазнатую спину оборотит в следующий раз.

И вот голос звучит уже от двери:

— А как встретете того мистера Шекспира, мистер Грин, то лучше у него самого спросите. У него как раз и спросите.

Дверь закрывается снова.

Пациент в глубоком забытии лежит на больничной койке, устремив невидящий взор в потолок, в положении, которое теперь можно считать наиболее для него характерным; он сознает лишь, что погружен в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и омега (и все прочие буквы между ними) сущего, над океаном легких

облаков. Благословенная тишина снисходит наконец на серую комнату... или снизошла бы, если бы птица в часах, словно ощутив, что еще не полностью отмщена, что обязана в последний раз — хоть раз — заново утвердить свою непричастность, отстраненность от всего происшедшего в этой палате, свое неумирающее уважение к первому и эстоавтогамному¹³² (не пачкай веселья, сказал Шэнага¹³³) владельцу, или будто бы забредив во сне о зеленых полях и горных лугах Ирландии и о счастливой, просто-таки блаженной возможности спихнуть с себя всякую ответственность за собственные порождения (не говоря уже о великолепной возможности оставить за собой последнее слово), вдруг не зашевелилась, не высунулась наружу и не прокричала свое окончательное, негромкое и одинокое, до странности одинокое «ку-ку».

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«МАНТИССА» — ОСТРОУМНАЯ, БЛИСТАЮЩАЯ ЭРУДИЦИЕЙ И НЕВЕРОЯТНО ЗАБАВНАЯ ПАРОДИЯ НА ВСЕ НА СВЕТЕ, ВКЛЮЧАЯ И САМОЕ СЕБЯ

Пенелопа Лайвли («Санди телеграф»)

«МЕТА-РОМАН»

Дэвид Лодж («Санди таймс»)¹³⁴

«Добавление сравнительно малой важности» (так маг и волшебник слова, великий мистификатор Джон Фаулз объясняет значение названия, а следовательно, и содержания книги) оказывается на поверку вовсе не таким уж маловажным.

Шутливая форма — взаимоотношения автора и его музы, поданные как противостояние (даже в единении) мужчины и женщины, постоянно меняющихся ролями, эротические сцены как метафора творчества... Но в каждой шутке есть доля правды. И доля эта здесь очень велика, собственно, шутка так и остается лишь формой, в которую облачена правда.

«Мантисса» действительно мета-роман — роман о романе как жанре, о методе творчества, о романе современном (и очень едко — о масс-литературе, ведь персонажи «Мантиссы» утверждают, что в романе вообще не нужен текст, был бы секс!); здесь есть буквально все, что встречалось в предыдущих книгах: взаимоотношения с искусством (исследование природы реального и творческого, проблемы отчужденности искусства, эволюции писательского творчества, приведшей к самопогруженности современной литературы), отношение к политике вообще, к социальным проблемам (и социализму) в частности; отношение к женщине; к литературе и театральному искусству; главное — проблемы творчества, роль воображаемого и реального; структурализм, постмодернизм, смерть — или НЕ смерть — романа и т. п. Мы слышим в тексте эхо практически всех произведений писателя: «Маг» (в русском переводе «Волхв») — проблема преобразования героев, игра в бога — и игра с богом; секс как способ достижения духовной близости (это есть, впрочем, и в «Дэниеле Мартине», да и в других творениях писателя — в «Маге», «Коллекционере»...); «Дэниел Мартин» — поиск образа матери в любимых женщинах, обретение себя через обретение любви к женщине, воплощающей вечную женственность; «Коллекционер» — тема насилия; «Женщина французского лейтенанта» — свобода воли, утверждение женщиной себя как равноправной свободной личности; и тут же — право писателя на неопределенность, открытость концовки произведения; «Маггот» («Червь») — проблемы вуаеризма и эксгибиционизма как неких неизбежных сторон писательского творчества; критические статьи — отношение к сегодняшнему состоянию литературы (Франции, Англии, США) и литературной критики... примеры можно множить бесконечно. Что же за мантисса здесь перед нами? Сводка проблем собственного творчества — и творчества вообще? Скорее — пародийное их высвечивание.

Писатель предстает перед нами как божество — альфа и омега сущего, витающий в эмпиреях создатель миров, обитающий в беспредельном и в то же время предельно замкнутом пространстве собственного мозга. И словно божество, он обречен на вечное одиночество... на одинокое безумие творца. Жизнь врывается в поле зрения творца в виде безмолвных зрителей акта творения, не способных проникнуть внутрь замкнутого пространства, не испытывающих тех же чувств, но тем не менее безмолвно взирающих, наблюдающих этот акт. Вуаеризм читателей? Может быть, именно в этом — пресловутое со-творчество читателя? И может ли

он иначе вмешаться в акт творения, участвовать в нем? А может быть, и читатель всего лишь творение автора? Читатель молчит. Но не молчит критик, а он ведь тоже читатель. Впрочем, по-видимому, не всегда! Недаром Майлз Грин советует Эрато, не прочитавшей ни одной книги, заняться литературной критикой.

А что же автор? Следует ли ему учитывать вкусы читателей? Вечные вопросы творчества, на которые «Мантисса» дает достаточно ясный ответ.

И все поясняющий эпиграф из Декарта:

«Я мыслю, следовательно, я существую» = Я творю, следовательно, я существую.

Фаулз, в каждом своем творении не похожий на себя прежнего, тем не менее всегда остается самим собой.

И. Бессмертная

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

¹ Rene Descartes. Discourse de la Methode — Р. Декарт «Рассуждение о методе» (франц.). Р. Декарт (1596 — 1650) — французский ученый, философ, математик; его часто называют отцом современной научной мысли.

² Mariveaux. Le Jeu de l'Amour et du Hasard — Мариво «Игра любви и случая» (франц.). П. Мариво (1655-1763) — французский писатель, драматург, пародист; сыграл значительную роль в реформировании французского театра.

³ Lempnere Under «Musae» — Лемприер. Из статьи «Музы». Имеется в виду «Классический словарь Лемприера» (Lempner's Classical Dictionary). Дж. Лемприер (1765?-1824) — английский ученый, библиограф, составитель энциклопедического словаря имен, встречавшихся в мифах Древней Греции и упоминавшихся в произведениях древнегреческих и римских авторов.

⁴ Альфа и омега (по первой и последней буквам греческого алфавита) — начало и конец.

⁵ Non sequitur — здесь: заявление, не относящееся к делу (лат.).

⁶ Плексиколический стимулятор — вымышленный термин, образованный от слова «плексус» (лат.), обозначающего «сплетение» — нервов, сухожилий и т. п. Далее все подобные термины, составленные из частей действительно существующих латинских слов (например, «ценонимфическая», «псевдоспинальная» и т. п.), не имеют реального медицинского смысла.

⁷ Миссис Гранди — героиня пьесы английского писателя Томаса Мортон (1764-1838) «Поторопи свой плуг» («Speed the Plough»), ставшая символом закостенело-строгой морали.

⁸ Ид-унаследованные инстинктивные импульсы индивида как область подсознательного; основа личности.

⁹ Синекдоха — литературоведческий термин, здесь означающий использование меньшего вместо большего (греч.).

¹⁰ Гладстон Уильям (1809-1898) — известный политический деятель Великобритании, четырежды становившийся премьер-министром: 1868-1874, 1880-1885, 1886 и 1892-1894гг.

¹¹ Frisson-содрогание (франц.).

¹² «Кама Сутра» — индийский средневековый трактат о любви, написанный на санскрите между IV и VI вв. Предполагаемый автор — Ватсьяна. Дж. Фаулз вперемежку приводит названия работ и имена авторов, трактовавших ту же тему, как реально существующих, так и вымышленных.

¹³ Уран — в греческой мифологии бог, олицетворяющий небо, супруг Геи — земли.

¹⁴ Lempriere. Under «Mnemosme» — Лемприер. Из статьи «Мнемозина».

¹⁵ Lempriere. Under «Erato» — Лемприер. Из статьи «Эрато».

¹⁶ Немезида — в греческой мифологии богиня, наблюдающая за справедливым распределением благ среди людей и обрушивающая свой справедливый гнев на преступающих закон.

¹⁷ Менады (греч. «безумствующие») — в греческой мифологии вакханки, спутницы Диониса (Вакха), бога плодородия; следуя за ним толпами, сокрушали все на своем пути, растерзывали животных, иногда не гнушались и человеческими жертвами.

¹⁸ Стихомития — распределение стихов между говорящими лицами драмы с таким расчетом, чтобы каждая реплика состояла из одного стиха (греч.).

¹⁹ Фамилия доктора А. Дельфи ассоциируется с названием одного из важнейших святилищ в Древней Греции — Дельфийским храмом, посвященным богу Аполлону и расположенным на южном склоне горы Парнас, над Коринфорским заливом. Считался центром мира. Здесь же обитал Дельфийский оракул, чьи пророчества людям вещала в состоянии экстаза Пифия, жрица Аполлона. Кроме того, прочитанная вместе с инициалом «А» (Адельфи), эта фамилия соответствует значению «близнецы», «двойники».

²⁰ Имя сестры Кори ассоциируется с бытовавшим в греческой мифологии именем «Коры». Так назывались девы, воплощающие божественную женственность. Кроме того, в греческой мифологии существовали Корибанты — спутники и служители Великой Матери богов Реи-Кибелы. По одному из мифов, Корибанты — дети Аполлона и музы Талии, покровительницы комедии и легкой поэзии

²¹ Джеймс Хогг (1770-1835) — английский поэт, чей дар был открыт Вальтером Скоттом, получивший прозвище «Эттрикский пастух» (он действительно был пастухом в родном селе), современник и друг Байрона. Особенно знаменита его поэма «Праздник королевы» («The Queen's Wake», 1813).

²² Numero Uno! — Первый номер! (итал.)

²³ Лидийский стиль в музыке строится на естественной диатонической гамме (последовательный ряд звуков, разделяющих октаву на семь ступеней). Лидия — древнее государство на западе Малой Азии (ок. 700-546 до н. э.). Последний царь Лидии — Крез.

²⁴ Vis-a-vis — здесь: по сравнению (франц.).

²⁵ Локва — мушмула японская.

²⁶ Киклады (Циклады) — группа островов в Эгейском море, центр развития цивилизации бронзового века, известный развитой металлургией и угловатыми скульптурами из белого мрамора.

²⁷ Histoire — история (франц.). Discourse — дискурс (франц.).

²⁸ A deux — вдвоем (франц.).

²⁹ Nouveau roman — новый роман (франц.).

³⁰ Ионический диалект — язык жителей Ионии, древнего государства в центральной части западного побережья Малой Азии (ок. VIII в. до н. э.) На том же диалекте говорили и в Афинах.

³¹ Эвтерпа — в греческой мифологии муза флейт.

³² Святая Цецилия (II-III вв. н. э.) — одна из наиболее почитаемых мучениц раннего христианства, покровительница музыки (главным образом церковной); часто изображается играющей на органе.

³³ Бузука — струнный инструмент типа мандолины (греч.).

³⁴ Двоюродный братец — Орфей, сын Аполлона и музы эпической поэзии и науки Каллиопы. Славился как певец и музыкант, наделенный магической силой искусства.

³⁵ Голливог — плоская тряпичная кукла-негр, в ярком костюме, с глазами-пуговицами.

³⁶ Вуаеризм — половое извращение, заключающееся в том, что человек испытывает сексуальное наслаждение, подглядывая за эротическими сценами.

³⁷ Мопс — в греческой мифологии прорицатель, сын Аполлона и прорицательницы по имени Манто.

³⁸ Талия — муза комедии.

³⁹ Аполлон Мусaget (мусaget — водитель муз) — в греческой мифологии покровитель певцов и музыкантов.

⁴⁰ Брэдфорд — промышленный город на западе Йоркшира с населением в 300 000 человек.

⁴¹ Пиериды — в греческой мифологии одно из названий муз. По одной из версий мифа, музы получили это название от Пиера, прибывшего из Македонии и давшего им всем имена; он также дал название «Пиерия» местности во Фракии, где обитали музы.

⁴² Лягушатниками в Англии пренебрежительно называют французов.

⁴³ Имеется в виду группа французских поэтов «Парнас», издававших сборники из серии под названием «Современный Парнас» (1866, 1871, 1876), где печатались, в частности, Поль Верлен (1844-1896) и Стефан Малларме (1842-1898).

⁴⁴ Герой пытается изобразить губами имя «Малларме». Стефан Малларме в 1876 г. издал поэму «Послеполуденный отдых Фавна» (написана в 1865), по которой в 1892 г. французский композитор К. Дебюсси (1862 — 1918) создал симфоническую прелюдию под тем же названием.

⁴⁵ По движению губ имя «Малларме» может быть прочитано как смесь французского *mal* — плохо, дурно и английского *arms* — руки.

⁴⁶ Тетрорхидный — термин, образованный от греческих слов «тетра» — четыре и «орхис» — яичко.

⁴⁷ Сигма — восемнадцатая буква греческого алфавита.

⁴⁸ «*Carmina Priapea*» — «Сборник приапей» (лат.), ошибочно приписывавшийся римскому поэту Вергилию (70-19 до н. э.). Приапей — особый жанр настенной и книжной, в основном эротической и профанной, поэзии, получивший название от бога плодородия Приапа, культ которого пришел в Грецию из Геллеспонта вместе с Александром Македонским и затем распространился по всему Средиземноморскому побережью. Приап изображался в виде фаллоса или уродца с двумя фаллосами и фаллической формы головой. В римскую эпоху этот культ достиг своего пика.

⁴⁹ *Con amore* — с любовью (итал.).

⁵⁰ *Ad nauseam* — до тошноты (лат.).

⁵¹ Апострофический (от греч. «апострофа») — стилистическая фигура, представляющая собой обращение к отсутствующему лицу как присутствующему. Просопопеический (от греч. «просопопея») — олицетворение, стилистический оборот, приписывающий предмету действие или состояние, в реальной действительности этому предмету не свойственное.

⁵² Эпиталама — свадебная песнь (греч.).

⁵³ Алкеева строфа — строфа античного стихосложения из четырех стихов, ударения внутри которых располагаются с неравномерными слоговыми промежутками, но повторяются из стиха в стих; введена древнегреческим поэтом Алкеем, усовершенствована Горацием.

⁵⁴ Апоσιопесис — риторическая фигура речи, неожиданное молчание, используемое для подчеркивания смысла (греч.)

⁵⁵ Онтологический (от греч. «онтология») — философское учение о бытии, о сущности и началах всего сущего.

⁵⁶ *Deus ex machina* — бог из машины (лат. перевод с греч.). Неожиданно возникающее событие или некие силы, обеспечивающие разрешение ситуации, казавшейся безнадежной (в литературном произведении, драме и т. п.).

⁵⁷ Джейн Остен (1775-1817) — английская писательница, автор знаменитых романов, отличавшихся, в частности, тонким юмором («Разум и чувствительность», 1811; «Гордость и предубеждение», 1813, и др.). Произведения Дж. Остен снова вошли в моду в 50-60-х гг. XX в.

⁵⁸ Пруст, Марсель (1871-1922) — французский писатель, создатель собственной художественной эстетики, автор стихов, очерков, рассказов и знаменитого романа «В поисках утраченного времени» (выходившего с 1913 по 1927 г.), над которым он начал работать еще в 1907 г.

⁵⁹ Angst-страх (нем.). Одно из основных понятий экзистенциализма, введенное в философский обиход датским философом С. Кьеркегором (1813-1855). Проводится различие между обычным страхом — боязнью (нем. Furcht), вызываемым предметом или обстоятельством, и безотчетным страхом — тоской (нем. Angst), обусловленным тем, что человек конечен и понимает это.

⁶⁰ Moue — недовольная гримаска (франц.).

⁶¹ Voulu — здесь: нарочито (франц.).

⁶² Найтсбридж — фешенебельный район лондонского Уэст-Энда.

⁶³ Recherchee — здесь: изысканна (франц.).

⁶⁴ Deuxieme dialogue — второй диалог (франц.).

⁶⁵ Tribadicon — «Трибадикон», от «трибада» — женщина, совершающая половой акт с другой женщиной (лат., греч.).

⁶⁶ De trop — слишком (франц.).

⁶⁷ Мессалина — Валерия Мессалина (22-48 н. э.), жена римского императора Клавдия, была известна всему Риму своими любовными похождениями, к которым муж ее оставался слеп.

⁶⁸ De nos jours — наших дней (франц.).

⁶⁹ Левисы — Франк Раймонд Левис (1895-1978), профессор истории, английского языка и литературы в Кембридже (до 1964 г.), один из основателей нового критического подхода к нарративному тексту. Автор многочисленных трудов. Его жена, К. Д. Левис (1906-1981), также специалист в области английского языка и литературы, занималась соотношением литературы и грамотности. Доктор Стайнер — Фрэнсис Джордж Стайнер (род. 1919) — американский писатель, литературовед, критик. Его перу принадлежат труды «Смерть трагедии» (1961), «Язык и наука» (1967) и др., а также литературные произведения, например «Антигоны» (1985). Одна из важнейших тем его творчества — каким образом главнейшие события XX в., в частности Холокост, разрушают представление о том, что литература оказывает гуманизирующее влияние на человечество.

⁷⁰ Мимесис — подражание, воспроизведение образа (греч.).

⁷¹ Vraisemblable — правдоподобно (франц.).

⁷² Ex voto — жертвоприношение, приношение по обету (лат.)

⁷³ Теда Бара — актриса, сыгравшая роль агрессивной соблазнительницы, «женщины-вамп» в американском фильме 1914г. «Жил-был дурак» («A Fool There Was»).

⁷⁴ Тодоров, Цветан (род. 1939) — один из крупнейших представителей младшего поколения французской школы структурализма. В 1965 г. выступил редактором издания работ русских формалистов «Theorie de la literature» («Теория литературы»). Главная сфера его интересов — структурная поэтика, которой он посвятил большую часть своих работ.

⁷⁵ Фраза представляет собой смешение действительно существующих и вымышленных терминов, не имеющих в данном случае реального смысла. См. также примечания 90, 131.

⁷⁶ Мельпомена — в римской и греческой мифологии муза трагедии.

⁷⁷ Qua — как, в качестве (лат)

⁷⁸ Ателеологический — здесь: отрицающий существование цели.

⁷⁹ Джонг, Эрика Манн (род. 1942) — американская поэтесса и писательница. Особенно известны ее книги «Фанни» (1980) и «Парашюты и поцелуи» (1984).

⁸⁰ Репина — греческое белое вино, терпкое и обладающее смолистым запахом.

⁸¹ Mann ist was er ißt... — Человек есть то, что он ест... (нем)

⁸² Гора Атос — гористый полуостров в Эгейском море (Македония), где расположены двадцать мужских монастырей Восточной Православной Церкви (самое раннее монашеское поселение датируется 962 г.). На полуостров запрещен доступ женщинам.

⁸³ Магритт, Рене Франсуа (1898-1967)-бельгийский художник, ведущая фигура в сюрреалистическом движении. Его работы отличались соединением противопоставленных друг

другу обычных, отстраненных и эротических образов. Он также создал сюрреалистические аналоги некоторых знаменитых произведений живописи.

⁸⁴ Ur-текст (Ur-text) — пратекст (нем.).

⁸⁵ Rene Descartes. Discours de la Methode — Рене Декарт «Рассуждение о методе» (фр.).

⁸⁶ Боддлер, Томас (1754-1825) — опубликовал в 1818 г. издание «Семейный Шекспир», исключив из текстов все те места, которые счел «неприличными и непристойными». Дж. Фаулз здесь и далее использует имена известных писателей и политических деятелей, например, доктор Лоуренс (Д. Г. Лоуренс (1885-1930) — английский писатель, поэт, критик, впервые открыто исследовавший в своих произведениях психологию сексуальных отношений; особенно известен его роман «Любовник леди Чаттерли», 1928), миссис Тэтчер — Железная Леди (род. 1925, первая женщина премьер-министр Великобритании), — тем самым характеризуя упоминаемый литературный персонаж.

⁸⁷ Бедлам — название старейшего в Лондоне сумасшедшего дома (от испорченного англ. Bethlehem).

⁸⁸ Септицемия — сепсис, заражение крови (медицинский термин).

⁸⁹ Миссис Тэтчер — см. примечание 86.

⁹⁰ Мастэктомия — ампутация молочной железы (медицинский термин).

⁹¹ Герменевтика — современная методология гуманитарного знания, уделяющая наибольшее внимание осмыслению (интерпретации) понятий и категорий, содержащихся в текстах; диегезис — подробное повествование; деконструктивизм — современное направление в философии и литературоведении, основанное на методе критического анализа (деконструкции) языка текстов с целью выявления скрытых (не только от читателя, но порой и от автора) смыслов.

⁹² Кортекс — кора головного мозга (медицинский термин).

⁹³ Rachsucht — мстительность (нем.).

⁹⁴ Бесси Смит (1894-1937) — американская джазовая певица, «Королева блюза».

⁹⁵ Билли Холлидей (1915-1959, настоящее имя Элеонора Фаган) — американская джазовая певица, прозванная Леди Дэй. Ее пение отличалось особым драматизмом.

⁹⁶ Граф Рочестер, Джон Уилмот (1647-1680) — английский поэт, сатирик, ведущий член группы «придворных остроумцев», окружавших короля Карла II (1630-1685; правил 1660-1685). Был также известен боевыми подвигами в морских сражениях.

⁹⁷ Имеется в виду «Философия в будуаре» (1795) французского писателя Маркиза де Сада (1740-1814). В книге описываются различные виды эротизма.

⁹⁸ Томас Стернс Элиот (1888-1968) — крупнейшая фигура в английской литературе, начиная с 20-х гг. XX в. Поэт, драматург, философ, критик и теоретик литературы, он был создателем новой поэтики.

⁹⁹ «Оставь глазам прекрасным говорить». Мариво «Колония».

¹⁰⁰ Фланн О'Брайен (псевдоним Брайена О'Нолана, 1911-1966) — ирландский писатель, по характеру многоуровневой прозы близкий Джеймсу Джойсу (1882-1941). «У Двух Лебедей» («At Swim-Two-Birds», 1939) его первый и самый знаменитый роман.

¹⁰¹ Мосарабы — арабизировавшиеся христиане Пиренейского полуострова, жившие на захваченной арабами в VIII в. территории и воспринявшие их язык и культуру. Многие мосарабы находились на службе у мусульманских правителей.

¹⁰² Альгамбра — мавританская крепость-дворец, последний оплот мусульманских правителей Гранады. Построен близ города Гранада между 1248 и 1354 гг. Прекраснейший образец мавританской архитектуры.

¹⁰³ Лебедь Эйвона — Бард Эйвона, Шекспир (по месту рождения — Стратфорду-на-Эйвоне).

¹⁰⁴ Бэкон, Фрэнсис (1561-1626) — крупный политический деятель времен Елизаветы I, ученый, философ, писатель. Его литературные произведения включают, в частности, утопию

«Новая Атлантида» (опубл. 1627), «Очерки» (1597-1625), «История Генриха VII» (1622) и др.

¹⁰⁵ Чипсайд — улица в северной части Лондона, в Средние века здесь находился главный рынок города.

¹⁰⁶ Строка из знаменитого сонета 130 Шекспира «Ее глаза на звезды не похожи...». За строкой, упомянутой в тексте, следует «Но милая ступает по земле». (Перевод С. Я. Маршака.)

¹⁰⁷ Coitus interruptus — прерванный половой акт (лат.).

¹⁰⁸ Клио — муза истории.

¹⁰⁹ Engouement — увлечение (франц.).

¹¹⁰ См. примечание 42.

¹¹¹ Онассис, Аристотель Сократ (1906-1975) — греческий миллиардер, магнат международного уровня, основатель греческой национальной авиалинии «Олимпик заруэйз».

¹¹² Речь идет об афинском комедиографе Аристофане (ок. 448-380 до н. э.) и его комедиях «Лягушки» и «Лисистрата».

... Шуточка про милетских жен... — Жены города Милета, руководимые Лисистратой, отказали мужьям в исполнении супружеских обязанностей в наказание за то, что те предпочитали женам ратные дела.

¹¹³ Имеется в виду учение греческого философа Платона (429-347 до н. э.) о том, что наш мир лишь тень идеального мира и видим мы лишь тени идеальных предметов. Описанное в тексте жилище, однако, более похоже на жилище другого греческого философа — Сократа (469-399 до н. э.), учеником и последователем которого был Платон.

¹¹⁴ Кефалония — греческий остров в Ионическом море.

¹¹⁵ Стоя — колоннада, портик (греч.); Стоя (с заглавной буквы) — название Школы стоиков, собиравшихся под портиком с колоннадой.

¹¹⁶ Phalloi — мужские половые органы, руге — женский половой орган (греч.).

¹¹⁷ Публий Вергилий Марин (70-19 до н. э.) — римский поэт, автор эклог и пасторалей. Самая знаменитая его работа — эпическая поэма в 12 книгах «Энеида».

¹¹⁸ Назон, Публий Овидий (43 до н. э.-ок. 17 н. э.) — младший из плеяды римских поэтов, творил в эпоху императора Августа. Самые известные его поэмы — «Искусство любви», «Метаморфозы».

¹¹⁹ Флакк, Квинт Гораций (65-8 до н. э.) — римский поэт, создатель поэтических «Сатир», «Од» и «Эпистол», а также дидактической поэмы «Искусство поэзии».

¹²⁰ Катулл, Гай Валерий (ок. 84-ок. 54 до н. э.) — римский поэт, известна лишь одна книга его стихов. Особенно прославился яркими и выразительными стихами, посвященными его возлюбленной Лесбии.

¹²¹ Картландит — от имени Барбары Гамильтон Картланд (1901-?) — весьма плодовитой английской писательницы, автора легких «женских» романтических повестей и романов.

¹²² Этос — характерные черты, повадки, манера поведения (греч.).

¹²³ Калипсо — нимфа, продержавшая Одиссея на своем острове целых семь лет (греч. «та, что скрывает»)

¹²⁴ «Ода греческой урне» (1819-1820) — стихотворение английского поэта-романтика Джона Китса (1795-1821).

¹²⁵ «Небесная подруга» (1850) — стихи английского поэта и художника, основателя Братства прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти (1828-1882). В стихах речь идет о небесной деве, глядящей из облаков на земной мир, наблюдающей, как души умерших возносятся к Богу и молящей о воссоединении с возлюбленным.

¹²⁶ Фрэнк Харрис (псевдоним Джеймса Томаса, 1856-1931) — английский писатель, редактор нескольких журналов и автор статей, направленных против викторианского ханжества. Четыре тома его, по всей видимости, не вполне достоверных мемуаров «Моя жизнь и любовные похождения» (1922-1927) вызвали в Англии грандиозный скандал хвастливо откровенными описаниями сексуальных сцен.

¹²⁷ «Бойтесь данайцев, дары приносящих»; данайцы, то есть греки, осаждавшие Трою, подарили троянцам деревянного коня, в котором спрятались греческие воины; эта хитрость помогла грекам взять Трою. Согласно мифу, слова принадлежат троянскому жрецу Лаокоону.

¹²⁸ *A la japonaise* — подобно японке (франц.).

¹²⁹ Сямисэн — национальный японский трехструнный инструмент.

¹³⁰ *In extremis* — на пороге смерти; в трагически тяжелых обстоятельствах (лат.)

¹³¹ Анагнорисис — развязка, заключительная сцена (в драматическом произведении); также — признание (кем-то), опознание (греч.)

¹³² Эстоавтогамный — эстетически автогамный, то есть эстетически самооплодотворяющийся.

¹³³ Шэнаган — персонаж романа Фланна О'Брайена; см. также примечание 100.

¹³⁴ Лодж, Джон Дэвид (род. 1915) — писатель, критик, литературовед, профессор современной английской литературы в Бирмингемском университете, автор работ по теории мировой литературы; особенно известен его роман «Перемена мест» («*Changing Places*», 1975).